Год рождения 1921

Игорь Васильевич Новожилов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга «Год рождения 1921» написана в жанре военной мемуаристики и представляет собой воспоминания представителей того поколения, на плечи которого легла основная тяжесть Великой Отечественной войны, прошедших через самые суровые ее испытания от первого до последнего дня. Книга продолжает традиции писателей-фронтовиков – М.Шолохова, К.Симонова, В.Быкова, В.Астафьева и других, суть которых – показ судьбы человека в годы военного лихолетья.

- Игорь Васильевич Новожилов
  - КАК СЛОЖИЛАСЬ ЭТА КНИГА.
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ОТЗЫВ

Игорь Васильевич Новожилов
Год рождения 1921

КАК СЛОЖИЛАСЬ ЭТА КНИГА.

1

На своей свадьбе, несмотря на весь раскардаш и треволнения, связанные с этим событием, я сразу обратил внимание на сухого, жилистого мужчину с тощим, костистым лицом, прорезанным глубокими морщинами, с горящим, остановившимся, ястребиным взглядом. Это был мой новый родич из Твери, двоюродный свояк, Виктор Петрович Лапаев.

Мы с ним быстро сошлись на почве общего отношения к жизни, интереса к войне, рыбалке и по случаю сильного несходства темпераментов и политических воззрений.

По профессии он был преподаватель истории и обществовед, по натуре – комиссар и ригорист. «Они говорят мне, – вскидывался Виктор, – что ездят за колбасой в Москву. Не хотят понимать, – яростно рубил он кулаком, – что если сейчас мы не едим колбасу, то наши дети и внуки будут есть ее!»

В одну из наших встреч, после стола, раздоров и согласий, утомленные питьем, едой и общением, мы щурились на праздничную телевизионную передачу. Шли танцы народов СССР.

– В этих клумпес я прошкандыбал почти год, – пробубнил себе под нос Виктор. На экране литовские пары громыхали деревянными сандалиями.

– Когда? – откликнулся я сонно.

– В сорок втором, в Литве, у Яцкевичей.

Мой сон отлетел. Все, что отмечено 41-45 годами действует, как разряд электрического тока, на всех, переживших это время. Наша жизнь разбита на эпохи «до войны», «война», «после войны». Четыре военных года пропастью разделяют времена мирного проживания и неотразимо притягивают наши чувства и воспоминания.

Я вцепился в Виктора. Выпытал в тот вечер и про клумпес, и про Яцкевичей. Вызнал, что всю войну он пробыл в немецком плену и что было у него восемь побегов.

При каждой встрече я уговаривал его записать свои похождения. Он отмахивался.

Тогда я взялся за перо сам. Добрых двадцать – двадцать пять лет – то после застолья в Москве или в Калинине, то летом на сеновале в Сельцах, под Старицей, то в тверской зимней деревеньке Любохово я, подгадав момент, извлекал амбарную книгу и

разматывал одиссею Викторовых концлагерей, шталагов, побегов, арестов.

Он неохотно уступал моим биографильским домогательствам, махал рукой, морщился. С отстраненным видом выслушивал мои предыдущие записи, поправлял неточности. Но быстро включался, входил в раж, жадно закуривал, ломал сигареты. Выставив локти и коленки, падал на спину, показывая, как лежат побитые кони. Выкидывал на меня скрюченные пальцы, будто прянувшая на него из будки лагерная овчарка… А я катал все это без окончаний и запятых.

Наши литературные труды продвигались более чем неспешно. Тем временем, судьба готовила мне еще одну, чем-то схожую, встречу.

2

Лет двадцать назад мне по семейным обстоятельствам позарез понадобилось автономное средство передвижения. Я купил подержанный «запорожец». Его народная кличка «горбатый» лестно совпадала с фронтовым прозвищем штурмовика Ил-2.

При попытке уйти в первый самостоятельный полет моя машина наотрез отказалась меня слушаться. Дело было безнадежно морозным зимним утром. Я впал в отчаяние.

И тут надо мной, в окне машины, возникло приятно улыбающееся лицо крупного, вальяжного мужчины: «Позвольте-ка, я Вам помогу». Он мгновенно привел в повиновение маленького упрямца. Мы представились. Это был Игорь Сергеевич Косов, сосед по дому.

Сошлись поближе. Он оказался удивительно интересным человеком с необычной биографией разведчика, командира дивизиона «катюш», архивиста, редактора. Пройдя огонь, воду и медные трубы, он оставался по-детски простодушным. Был хлебосолен, открыт, благожелателен, соблюдая со старомодной церемонностью дистанцию в отношениях. Был добр, деликатен и лишен страха. Любил компанию друзей, приятное застолье, острую беседу, хорошую книгу. Не выказывал никогда ни притязаний, ни сожалений.

У него был свой, быть может, иного временного масштаба несуетный взгляд на мир – без нытья и брюзжания, с умеренно оптимистичной уверенностью, что все, в конце концов, образуется. Поражали его цепкая профессиональная память историка и

артиллериста, талант рассказчика. В его рассказах оживали фронтовой хирург Вишневский и профессор скрипичных наук из Одессы Столярский, маршал Жуков и любимый ординарец Александр Иванович Котов – Котяра. Игорь Сергеевич не раз брался за перо, написал несколько страниц – тем все и кончилось.

Я стал записывать его разговоры.

Побуждаемый жгучим интересом к войне, которую пережил мальчишкой, я торопливо заносил на бумагу его насквозь прокуренные сипения и клокотания. Последнее время я, а думаю, и он, понимали, что срок нам отпущен короткий. Война не отпускала его. Сначала Игоря Сергеевича поразил тяжелый инсульт – отзвук контузии 41-го года. Потом у него развилась гангрена ног, которые, как он говорил, «были изрублены в фаршмак» осколками мины.

Игорь Сергеевич умер 5 сентября 1994 года, немного не дожив до пятидесятилетия Победы, которое он страстно надеялся встретить. А весной того года, перед тем как разбежаться из Москвы по своим дачам, мы только-только успели записать бои за Берлин.

Так я оказался владельцем записей двух бесценных военных биографий

3

Удивляет сходство моих героев: оба – яркие, красивые, богато одаренные природой мужчины, оба – ровесниками 1921 года рождения – в неполных двадцать лет попали в пекло войны, оба по военной профессии – артиллеристы, по мирной – историки.

Еще больше поражает различие их военных судеб.

Одного, Виктора Лапаева, беспомощной песчинкой пронесло через преисподнюю войны, по всем рационализированным кругам немецкого плена, запланированного на форсированную отработку человеческого материала.

Другой, Игорь Косов, с бесшабашной самоуверенностью и бесконечным везением прогремел на своих гвардейских минометных установках сквозь железо и огонь войны. Любимец богов, баловень судьбы.

Игорь Сергеевич и Виктор знали от меня друг о друге. Игорь Сергеевич слушал о Викторе с благодушным безразличием. Он вообще предпочитал говорить сам. Виктор внимал рассказам о похождениях своего удачливого сверстника с обостренным и

ревнивым интересом. Мне удалось однажды свести их.

В один из заездов Виктора в Москву мы сидели за столом, выпивали, беседовали.

Позвонил Игорь Сергеевич. Сказал, что хотел бы занести прочитанную книгу.

Дороги– то – через два подъезда. Он пришел тут же. Взаимные представления, тост за знакомство… слова о нынешней зиме…

Я попытался связать их напрямик:

– Виктор, я тебе рассказывал об Игоре Сергеевиче. Он начинал войну там же, где и ты, тогда-то…

– В это время там уже были немцы, – проскрипел Виктор.

– Позвольте, – вмешался Игорь Сергеевич, – я сам был там…

И никакой встречи ветеранов-побратимов не получилось. Виктор стал задираться, попер, наставив рога. Игорь Сергеевич прекратил спор, похолодел лицом и, отговорившись неотложными делами, удалился.

4

Чувство немалой ответственности за оказавшийся в моих руках материал подвигает меня на его публикацию.

Размышления о каком-либо сюжетном переплетении обеих биографий привели к тому, что наиболее уместным мне представляется их параллельный пересказ с минимальными пересечениями. Могучий стержень сюжета – это сама война.

Современная литература и публицистика, по-моему, сильно виноваты перед людьми, прошедшими вторую мировую. В лучшем случае, о них говорят в тонах тягостной жертвенности, чаще – как о безликом стаде, сталинских зомби.

Открываешь книгу о войне – жуть и мрак, мрак и жуть…

С грустным недоумением взираешь, как Нагибин в своих посмертных изданиях оплевывает свое военное поколение – свою жизнь, единственную и неповторимую…

Игорь Сергеевич морщился, встречаясь с таким злорадным нытьем.

Между моим поколением и поколением моих героев десять лет разницы и пропасть Великой отечественной. Не по руке и не по чину вставать мне на их защиту.

Дальше Игорь Косов и Виктор Лапаев говорят сами.

Я, Новожилов Игорь Васильевич, их слушатель и почитатель, профессор механико-математического факультета МГУ в своей

параллельной ипостаси, старался ограничиться минимальной редакторской правкой и необходимыми причинно-временными подвижками фрагментов записанного материала.

Свои композиционные вставки я выделяю, как и здесь, курсивом.

ГЛАВА I
ПЕСЧИНКОЙ В ВОДОВОРОТЕ

В. П. Лапаев

1

В ноябре 1939 года я был призван в армию Лесным Райвоенкоматом. Это самый глухоманный район Калининской области. Там мой отец был секретарем райкома. Он был настоящим коммунистом. Как сейчас помню, мать ему, секретарю райкома, ставит заплатки на галифе. На галифе, помню, было семь заплаток.

До революции отец был слесарем, в партию вступил в семнадцатом, в октябре семнадцатого штурмовал московский Кремль.

В тридцать седьмом отец работал в аппарате обкома Центральной Черноземной области у Варейкиса. Когда того взяли, отец легко отделался – ссылкой с понижением в тверскую глухомань.

Девчонки, с которыми я кончал десятый класс, устроили нам, призывникам, отходную. После нее нас, полупьяных, отвезли на подводах на станцию Малышево.

В теплушке – чугунная печка, с двух сторон двухэтажные нары человек на двадцать. На одном полустанке наша деревенская орда разгромила киоск. В теплушку притащили ящик водки. Дико перепились, передрались. Летали бутылки. Я был среди них интеллигент, сын секретаря райкома. Страшно перепугался, влез на верхние нары, накрылся тулупом.

Привезли нас в Харьков. Поскольку я был со средним образованием, меня направили в полковую школу. Через три месяца присвоили ефрейтора, еще через три – младшего сержанта и в марте 40-го года направили в 106-й противотанковый дивизион 23-й стрелковой дивизии. Поставили командиром 45-миллиметрового орудия.

В июне 40-го повезли – не знаем куда. Смотрим по станциям: Витебск, Гомель, Могилев… В поезде пели песни. Мы уже спелись

втроем: Бородавко – исключительный тенор, Майборода – бас и я – баритон. Бесподобно получались хохлацкие песни: «Там за долом…», «Стоит гора высокая…». Командир дивизиона Потлань, хохол, говорил: «Я бы всем вам дал ордена за песни».

В Полоцке выгрузились из поезда. Нам сказали – идем освобождать Прибалтику. Семнадцатого июня выдали боевые снаряды, патроны к винтовкам, и мы пошли к границе.

Наш дивизион единственный в дивизии был на мехтяге. Остальные, гаубичные, полки – на конной. В дивизионе было восемнадцать орудий, тягачи «комсомольцы» со скоростью до сорока километров в час.

Дивизион шел первым, и мы первые входили в Латвию. Подъезжаем к пограничному шлагбауму – у него какая-то заминка, мы даже слезали в кюветы. Потом шлагбаум поднялся, и мы двинулись дальше на Двинск, Даугавпилс – по-латышски. Километров за двенадцать до города народ вышел нам навстречу. Плачут, целуют, лезут на танкетки, бросают цветы, пакеты с конфетами, пряниками. На мосту через Даугаву – не протиснуться.

Встреча потрясла. Я написал о ней отцу письмо страниц на двенадцать – целую тетрадь.

В Даугавпилсе мы встали сначала на кладбище. Потом к начальству прибежал старый еврей: «Товарищи дорогие, мы вас очень любим и очень ждали, но скажите своим бойцам, что они все кладбище засрали». Нас разместили в фортах крепости послепетровского времени, километрах в восьми от города.

Простояли в крепости ровно год. Ничего примечательного тут не было. Познакомились с девчонками. Нам троим тогда дали увольнительную. Начистили сапоги – старшина проверял. Купили конфет. Очень красивые обертки, а развернешь – есть нечего. Идем – молодые, красивые, а за нами – след в след – три девчонки. Мы остановились познакомились. Я дружил с Ниной, дочерью врача, русской. Все было чисто по-товарищески.

Здесь я играл в футбол. Правого края – сначала за бригаду, потом за дивизию, а там – за корпус. В воротах стоял Шмельков из «Спартака».

Командир нашей дивизии Павлов был заядлый болельщик. Раз я выхожу на ворота и вместо мяча ударил по кочке. Полетел через мяч. Павлов матом на все поле: «Лапаев!…Такие мячи забивать надо!» Я растянул связки, унесли на носилках. Павлову было лет шестьдесят, зубы плохие, шамкал. Он погиб в начале войны в Литве. Я держал потом в руках его документы.

2

Меня как со средним образованием направили в дивизионную школу младших командиров. За неделю до ее окончания, числа десятого июня 41-го года, срочно снимают из школы и ставят командиром на свой взвод, вместо прежнего комвзвода Дегтярева. Того послали комвзвода в пехоту. Он служил уже двадцать пять лет, но был совершенно неграмотный, пушку не знал, считал, что младшему лейтенанту это не нужно. Бойцы над ним смеялись.

Тогда десять классов было большое образование. Нас на весь взвод было таких два: я и Володька Головин. Остальные имели по пять-семь классов. Но люди были – кремень.

У меня во взводе был рядовой боец Андрей Клименко. Дальше с ним много связано. Я сделал его сержантом, командиром второго орудия.

Андрей был родом из Артема. Мать рано умерла, отец был шахтером, за сыном не следил. Андрей убежал из дома, беспризорничал, воровал, сидел по колониям. Рассказывал мне, как однажды на допросе следователь предложил ему папиросу. Андрей потянулся взять, схватил со стола ручку, воткнул следователю в глаз и выпрыгнул в окно.

В конце концов, он попал в колонию Макаренко и увлекся там цирковым делом. Остался после восемнадцати лет у Макаренко физруком, а потом работал в Гомельском цирке.

В жизни не встречал я таких физически красивых людей, как Андрей. Очень сильный, решительный, ловкий, грудь выпуклая, кожа бронзовая. Он как-то боролся с Бородавкой. Тот – метра под два ростом, шея – вровень с головой, голова бритая, как у запорожца. Весом килограммов сто сорок верных. У Андрея – не более семидесяти-семидесяти пяти. Он поймал Бородавку на прием, перекинул через себя и хрястнул об землю. Мы захохотали. Бородавка поднялся и снова попер на Андрея. И тот опять кинул его через плечо.

Потом, у Яцкевичей, Андрей брал одной рукой за завязку мешок сырой ржи, верных килограммов сто, и, вывернувшись, клал себе на спину. Делал стойку на одной руке. Отличался повадкой резкой, независимой, блатной.

Командиром моей батареи был Эфест. Еврей, культурнейший человек, со всеми бойцами на «Вы»:

– Товарищ, красноармеец, Вы не правы.

Толковый мужик: батарея при нем из худших вышла в лучшие. Погиб в Литве почти сразу.

Вообще дивизион был хорошо подготовлен. На учениях при стрельбе за километр по мишени полтора на полтора метра ни у кого не было меньше одного попадания из трех. Мишень со скоростью километров двадцать пять в час тащат на салазках среди кустарника. Стрелять надо в темпе два выстрела в минуту, когда цель появляется в прогалах. У Клименко по мишени метр на метр за двести метров мимо не было ни одного снаряда.

3

Я принял взвод десятого июня 1941 года, а семнадцатого, год в год после прихода в Даугавпилс, мы снялись.

Вся наша дивизия двинулась в западном направлении. Двигались только по ночам, днем стояли в лесах. Ребята говорили: «Очень неспокойно на границе». Я бы не сказал, что мы были «застигнуты врасплох».

Двадцать первого вечером прибыли за Мариамполь, в шестидесяти километрах от границы. Легли спать. Я спал в маленькой палатке с сержантами Головиным и Клименко.

Двадцать второго июня, где-то в половине четвертого мы проснулись от гула авиационных моторов. Мощный, прерывистый гул: У-у-у… Только рассветало, стоял туман.

Я говорю: «Ребята, не наши самолеты». Слышим далекие взрывы. Это бомбили Каунас.

Через полчаса нас подняли по тревоге. Выступает командир дивизиона капитан Потлань: «У многих из нас тревожное состояние. Это наша авиация проводит учения». И мы пошли по палаткам. Но уже не спали.

В семь часов подъем. Я в трусах забежал в ручей по яйца и чищу зубы, полотенце на шее. Вдруг боевая тревога: «Та-та-та!».

Оделся. На мне еще лычки младшего сержанта: приказ на младшего лейтенанта не пришел.

Приехал майор, встал на зарядный ящик: «Фашистская Германия объявила нам войну».

Нам выдали карабины, пополнили зарядные ящики бронебойными снарядами. У всех большой подъем – разгромим! Получили команду вернуться за Мариамполь и занять оборону по обе стороны дороги Пруссия – Каунас. Окопались, ждали танки.

Весь день 22-го простояли здесь.

Утром 23– го узнали, что немец обошел нас и надо отходить к Каунасу.

Мы отступили на шестьдесят километров к Каунасу.

Вечером 23-го получили приказ отойти за Каунас. Часов в десять-одиннадцать вечера шли через город. Немец освещал Каунас фосфорными ракетами. Народ молча стоял на тротуарах, многие трясли кулаками. Колонну обстреляли из пулемета. Сквозь тент убило одного бойца. Утром мы его хоронили. Потлань сказал: «Это первая жертва войны!»

Наша дивизия заняла оборону в семнадцати километрах за Каунасом, под волостным местечком Кормилово, по направлению к Вильно.

Мы встали на поле высокой ржи. Июнь месяц – рожь начала уже колоситься. Сзади, за перелеском, стояли наши 211-й и 212-й гаубичные артполки на конной тяге. Противотанковые пушки – по обе стороны дороги на Каунас. Немцы стали бить по артполкам за нами, потом перенесли огонь на коновязи. Лошади частью были побиты, остальные разбежались. Огонь корректировала «рама». Она висела над нами, вся в зенитных разрывах. Потом немцы перенесли огонь на нас. Я мгновенно выкопал окоп сантиметров в семьдесят глубиной. Бьют немецкие пулеметы, пули шелестят во ржи. Рожь всю скосило. Через пятнадцать минут от поля нечего не осталось. Оно стало перекопанным и черным. Лежишь, как на футбольном поле.

Дивизия получила приказ отбить Каунас. Нас всех подняли в атаку. Очень страшно оторваться от земли. Но немцы отошли, не приняв боя.

Вся дивизия вышла на дорогу и двинулась колонной на Каунас. Внезапно нас накрыло страшнейшим минометным обстрелом. Мы залегли по кюветам. Пушки и весь обоз остались на дороге. Немцы устроили полный разгром.

Дорога километра на три-четыре была забита повозками, орудиями, мертвыми лошадьми.

Виктор яростно ощерился, завалился спиной на диван, выставил локти и колени: «Мертвые лошади лежат вот так – ноги кверху».

Дивизия сгрудилась на выходе дороги из леса. Обнаружилось, что наш мехдивизион совершенно не пострадал. Меня вызвал Потлань:

– Виктор, поедешь в распоряжение пехотного батальона, будете с ним охранять мост.

Я со своими двумя орудиями отправился на тягачах километров за десять-пятнадцать. Нашел комбата. Дорога от нас шла на мост через ручей и поднималась в гору к деревне, где были немцы. Мы поставили пушки по нашему склону по обе стороны дороги.

Сначала было тихо, потом из деревни начался пулеметный обстрел. Сверху посыпались листья, посеченные пулями. Комбат приказал подавить пулеметы. Мне показалось – стреляют из одного дома, и мы подожгли его. На дороге появились немцы на велосипедах, человек тридцать. Немного не доехали до моста – по ним застрочили наши пулеметы. Я приказал открыть огонь осколочными. Выстрел, всблеск…, видишь – немец падает, раскинув руки. Потом приходит звук разрыва. Немцы попрятались по кюветам, мы их обстреливали некоторое время, потом стало тихо.

Это был первый и последний раз, когда я стрелял на войне.

Потом прибегает связной из батальона: «Что вы сидите! Вас обошли справа! Пехота ушла!» А мы никак не можем впятером выкатить к тягачам пушку: пятьсот килограммов, провалилась в жижу до осей. Вдруг над нами, на насыпи дороги возник на мотоцикле командир батареи Эфест. До сих пор не понимаю, откуда он появился и тут же исчез. Культурнейший человек, со всеми только на «Вы», ударил по нам крепчайшим матом:

– Лапаев! Ты что тут ковыряешься!…

Мы на миг остолбенели и выхватили пушку, как пушинку. Попрыгали на тягачи, покатили в Яново, на переправу через реку Вилию.

Яново горело, валялись трупы людей и лошадей. Мост был разбит. Мы двинулись на переправу у мельницы в Гегужинах, по реке километрах в семи. Там были наведены понтонные мосты для техники, бойцы переходили реку вброд по грудь. Здесь отступало более пятнадцати наших дивизий.

Столпотворение… Командиры с руганью пробивают сквозь переправу свои части. У разметанных деревьев сидит группа из двенадцати-пятнадцати генералов. Растерянные, безучастные. На них никто не обращает внимания. Неделю назад даже один генерал производил сильное впечатление.

По воде и берегу редко и мощно бьет немецкая дальнобойная артиллерия.

Налетели немецкие самолеты. В двух местах разбили мост. Впервые видел воздушный бой. Один «мессер» против наших двух. «Мессер» сразу поджег первый наш самолет, второй стал уходить вдоль реки. «Мессер» спикировал на него и сбил в воду. Это произвело тяжелое впечатление.

Нигде не могу найти своих. Потом мне сказали, что за лесом стоят два тягача. Там стояли два «комсомольца» – все, что осталось от нашего дивизиона. Если бы Потлань не услал меня к пехоте, может быть, погиб бы и я.

Все произошло так. После неудачи под Кормиловом дивизия

стала отступать. Двигалась походной колонной, похоже, по той же дороге, что и наступала. Наш дивизион шел в арьергарде. Он был единственным на мехтяге. Немцы, видимо, это знали. В лесу, по обе стороны дороги, стояли их орудия. Они пропустили всю дивизию и прямой наводкой расстреляли дивизион. Ранило Потланя, убило Эфеста. Старшему политруку дивизиона Луценко оторвало ноги. Это был веснушчатый хохол, лет сорока. Ко мне относился, как к сыну. Луценко лежал у переправы на подводе, очень бледный: видно было, что потерял много крови. У нас было с ним тяжелое расставание. Он сказал мне на прощание: «Виктор, ты еще будешь жить, я умру». Я отошел и заплакал.

Раненых часа через три переправили, а наши четыре орудия остались. Налетала немецкая авиация, бомбила. Все время мощные, редкие удары немецкой тяжелой артиллерии.

Переправились только утром 27-го. Двинулись на Свенцяны – Молодечно в надежде пробиться на Минск. В местечке Укмерге кончился бензин. Нам сказали: «В лавочке у еврея достанете». Пошли к нему, отыскали: он прятался в огороде, привели. Я грозил ему револьвером. Он встал на колени: «Нету, пан офицер». В самом деле, откуда быть: прошло слишком много наших войск.

Мы испортили прицелы, выбросили затворы у пушек и оставили всю технику. Двинулись колонной человек под тысячу, во главе с майором.

На одном из перекрестков дороги местные нам говорят: «Вчера на Молодечно прошли немцы. Если поторопитесь, то проскочите на Даугавпилс».

Мы повернули на Даугавпилс и почти бегом одолели одиннадцать километров.

Я бежал босиком, потому что стер ноги.

Выбежали на Игналину за десять километров до Даугавпилса. Встречный белорус сказал нам, что еще вчера в десять утра Даугавпилс взяли немцы. И мы опять повернули на юг, на Свенцяны.

Хотя немцев мы еще не видели, решили, что большой колонной не пробиться. Майор дал команду рассредоточиться.

4

Мы пошли своей группой: я, Клименко, Головин… – одиннадцать человек. Сделали ошибку: надо было идти на север, на Ригу, а мы пошли на юг, на Старые Свенцяны. Кто пошел на

Ригу – пробился и вышел к своим. Я потом в немецких лагерях встречал наших из 23-й дивизии, взятых в плен уже под Ленинградом.

У меня всякий раз начинает болеть сердце, когда я перечитываю печальную повесть о погибели Викторовой 23-й дивизии. Даже я, полный профан в военном деле, вижу всю беспомощность ее действий. Удар в пустоту на ржаном поле под Кормиловом, когда в атаку поднялись все, даже артиллерист Виктор. Ее двукратный разгром при передвижениях по лесным дорогам. Дивизия не представляла, что творится справа и слева от нее, не пыталась прикрыть боковыми охранениями свои походные колонны, не знала, что ждет ее впереди, за полчаса ходу на лесных опушках и переправах.

Сколь дерзко и самоуверенно действовали немцы, не имевшие здесь, судя по всему, значительных воинских соединений. Они хладнокровно и расчетливо уничтожали огнем и маневром грозную военную силу из двенадцати тысяч прекрасно подготовленных, кадровых бойцов. Похоже, немцы не сомневались в том, что дивизия пассивно позволит подвергнуть себя этому растерзанию.

Сколько раз говорилось о неготовности к войне нашего военного руководства, и каждый раз поражаешься этому заново.

Наша группа двигалась ночами, по компасу. Днем стояли в лесу. Вечером подходили вдвоем-втроем к хутору. Постучишься – дают хлеб, картошку, сало. Или скажешь: «Испеките к утру столько-то хлеба». Одни отдавали охотой, другие – неволей: как не отдашь.

Заходим мы вот так в один хутор – я, Андрей Клименко и Сидоров Толька из расчета Андрея. Хозяин, поляк, встретил хорошо. Включил радио. Передавали на русском языке обращение к окруженцам: «Красная Армия разбита. Минск взят. Сопротивляться бесполезно». Жена принесла молоко. Мы пьем, карабины между ног.

Вдруг распахивается дверь – трое вооруженных: «Ранкай вершун!» «Руки вверх» по-литовски – не надо и перевода. Нам связали руки, вывели. Вокруг дома человек пятнадцать с нашими винтовками. На рукавах – красные повязки: литовская полиция. Она заранее подпольно организовалась из кулачья.

Что сталось с восьмерыми, оставшимися в лесу, – неизвестно. Нас троих привезли на подводе в Старые Свенцяны, посадили в чулан. Кормили, поставили парашу, с нами не разговаривали.

Когда дней через десять в чулане напихалось человек двенадцать, литовцы на подводе отвезли всех в Новые Свенцяны и дальше по одноколейке в Каунас. Там литовцы передали нас немцам, в концлагерь, который размещался в 8-м форте

Каунасской крепости царских еще времен. Только здесь я и увидел немцев в первый раз вблизи. Это было уже начало августа месяца.

Все это время настроение было подавленное, дух упал, давило чувство обреченности. Угнетали паника и вакханалия первых дней войны, обстрелы, отсутствие нашей авиации. Когда шли малой группой, усугубляло чувство постоянной опасности. Попав в 8-й форт, где было уже около десяти тысяч человек, мы несколько воспряли духом.

Много лет в рассказах участников войны разворачиваются передо мной мизансцены, в которых, как в классической трагедии, противоборствуют слепой рок и свобода выбора, гипнотизм общей судьбы и воля главного героя.

Необстрелянного солдата, потерявшего воинский строй и надежду, смывало в необозримые потоки военнопленных, окаймленные редким пунктиром конвоя. Бывалый солдат, солдат трепаный, как его уважительно называл второй герой моей книги Игорь Сергеевич Косов, выбор делал сам.

Вот история, которую я слышал от Николая Кузьмича Счисленка, партизана из кадровых окруженцев:

–… Сидим втроем в избе. Вдруг распахивается дверь – трое полицаев:

– Руки вверх!

Один из наших сидел в углу, и он срезал их из автомата. Мы повыскакивали в окна – в снег. Деревня забита полицейскими. Бежим к лесу по заснеженному полю. Падаем поочередно в снег, огнем прикрывая перебежки. Добежали. Все целы. Гляжу – у меня на шее висит оконная рама. Стеклом всю шею изрезало.

5

Восьмой форт был поперечником метров в триста. Обнесен по периметру колючей проволокой. За ней – ров, выложенный кирпичом, метра четыре глубиной, шириной – метров шесть. Через ров – подъемный мост к центральным воротам. Внутри форта – двухэтажные казематы красного кирпича. Каждый этаж – это длинный, в тридцать-пятьдесят метров, коридор шириной в четыре-пять метров. Вдоль коридора нары в два яруса. Казематы засыпаны с верхом землей, так что издали форт выглядит, как большой холм, поросший кустарником.

В.П Лапаев. 22 января 1941 года

В лагере нам сразу же выдали белые матерчатые номера, велели нашить на одежду. Мой номер был 11190, у Андрея Клименко – 11191.

Сами немцы держали только наружную охрану на центральных воротах и в сторожевых будках по внешнему обводу. Все внутреннее управление – полиция, переводчики, повара, врачи – было из пленных. В основном, – хохлы-националисты. Стоит такой вразвалку… К русским они относились плохо.

Кормили дважды в день – утром и вечером. Выдавали жидкую, горячую баланду: картошка, немного крупы. Повар черпаком наливал бурды с полкотелка. Утром в другой очереди выдавали кофе из свекольного суррогата, 200 граммов хлеба и 20 граммов маргарина кусочком в пол спичечного коробка. Хлеб с опилками. В кишках спрессовывается, начинаешь срать – дерет невозможно. Кал будто из одних опилок.

Примерно половина пленных жила в казематах, кому не хватило – жили в норах. Бугор был откосом градусов в сорок пять, в нем рыли норы, накрывали шинелями, насыпали листья. Мы держались вместе с Андреем Клименко. Нам досталась чья-то готовая нора. Я не помню, чтобы мы рыли сами.

В лагере быстро заметили Андрея. Все его звали Цыганом. Он был старше меня на три года. Был уже женат, в Гомеле остался сын. Он почему-то имел ко мне привязанность: может быть, видел меня в деле, как я брал риск на себя. Был он сильный физически, блатной. Его боялись. Подходит очередь Андрея к повару при баланде: «Ты чего, мудак, наливаешь одну жижу? Добавь!» Тот взглянет – ударить черпаком или нет – и черпнет добавки со дна.

Повара жили, как царьки. Играли в карты. Других брали в игру за черпак баланды или за пайку хлеба. Андрей затесался к ним играть в буру. Надолго исчез. Появляется часов в пять вечера. Выпивши. Встал вразвалку: «Ну, хлопцы, живем. Я поваров обыграл». Принес три пары хромовых офицерских сапог. Из полной противогазной сумки пригоршнями вывалил красных тридцаток, из обоих карманов – горстями часов.

С этими деньгами мы купили на лагерном черном рынке две буханки хлеба и картофельных лепешек. На этом рынке можно было купить хлеб, даже яйца, маргарин пачками – видимо, от поваров, махорку – она была в большом дефиците. Все за баснословные деньги. Продукты шли и от внешних работ, куда брали каждый день триста-четыреста человек. Народ шил из шинелей тапочки, их меняли у местных на хлеб.

Купили места в каземате, на первом ярусе. Но сразу поняли, что здесь вся вошь сыплется на тебя. Не спишь. Утром наощупь достаешь из подмышек за раз три-четыре исключительно крупных вши. Тряхнешь рубахой над костром – треск идет. Андрей говорит: «Невозможно». Мы сменялись на второй ярус. Там тоже плохо спать. Народу набито битком, узкий метровый проход между нарами, жара. Так набздят за ночь – задыхаешься. Но это все равно лучше, чем внизу. Хотя и тут вошь заедала. На ночь обязательно над костром прожаривали одежду. Еще повезло, что не было тифа. Дня через три повара вызывают Андрея играть. Возвращается: «Проиграл все. Обыграли сволочи». В карты играла самая лагерная элита. Меня туда не пускали.

6

Так прожили две-три недели. Холода и голода почувствовать не успели. Стоял конец августа, было тепло. Как раз в это время удалось попасть в команду на торфоразработки в Козлову Руду. Там машина пластами резала торф. Мы вручную должны были переворачивать их для просушки на обратную сторону. Работа

нетрудная, но все время согнувшись или на четвереньках

Стояли два барака. Один – длинный, окруженный колючей проволокой. В нем жили мы, человек двести пленных. Маленький барак – на одиннадцать немцев-охранников. Рацион всюду был один и тот же: баланда, суррогатный кофе, маргарин, хлеб. В отличие от лагеря, здесь выдавали сухари из настоящего хлеба.

На работу нас обычно разводили партиями по пятьдесят-шестьдесят человек. Каждую охраняли четыре немца, стоявшие поодаль, по углам места работы. В полдень пленных сгруживали вместе для обеда, и охранники подходили совсем близко. Так проработали с неделю.

Закоперщиком всего у нас был Андрей. Он стал говорить в бараке: «Что, так и будем гнить на этих торфоразработках? Давайте кинемся во время обеда, задушим, заберем оружие. Потом в бараке убьем смену, заберем их оружие и уйдем в лес». Народ согласился. Андрей взрезал себе вену, и его кровью все расписались: «Я, боец армии свободы, клянусь, что в борьбе с врагом не смирюсь и т. д.»

Договорились, что в этот день группы по четыре человека рассаживаются в обед к намеченным конвоирам. По свистку Андрея разом бросаются, разоружают, а при сопротивлении – душат. Андрей должен был как дирижер стоять в середине, у котла.

Немцы были уже беспечны. Обед. Мы разобрали баланду. Я не могу есть от волнения. Андрей дал свист – никто не кинулся…

Пришли в барак. Андрей костерит: «Шлюхи поносные!…» Когда легли спать, он мне шепчет: «Бежим вдвоем». Это было несложно. На следующее утро часов в пять, солнце еще только всходило, мы пошли в уборную. Дождались, когда часовой перешел на противоположную сторону, отогнули проволоку, юркнули и ушли.

Около часа то бежали, то очень быстро шли. Попали в большой малинник. Ягоды – в жизни таких не видал. А мы сильно проголодались. Долго ели – животы раздуло. Легли отдыхать. Вечером двинулись дальше.

Вышли на край леса. Видим – хутор. Там темно: хозяева легли спать. В стороне сарай. Зашли в него, смотрим: мешки с рожью, коса, цеп. Видать, здесь молотили. Андрей мне:

– Бери косу. Ломай. Будет нож.

Отломили конец, обмотали мешковиной. У дома стоит ржавая лейка.

– Бери.

Я отломил носик. Дырка получилась низко.

– Зачем обломил?

Смотрим – в сарае куры. Андрей мне:

– Неси мешок. Клади кур в мешок.

Я засомневался:

– Они же зашумят.

– Дурак! Смотри. – Берет курицу, загибает ей голову под крыло. Те только: – Ко-ко-ко… Положили в мешок пять штук – никакого шума. Оказывается, ночью куры молчат. Андрей за время беспризорничества всему обучился. Отсыпали ржи.

Пошли. Я вел на восток, определяясь по Большой Медведице. У Андрея было четыре класса, он совершенно не мог ориентироваться. Под утро нашли воду, решили подкормиться. В лейке из-за отломленного носика воды удерживалось мало – заткнули дырку палкой. Варили-варили рожь – она все сырая. Андрей отрубил косой на дереве головы трем курам. Я ощипал их. Рубить головы не мог. Бросили всех трех в рожь. Опять варили-варили и все равно не доварили. Соли нет. Я есть не могу.

Двинулись дальше. Лейку бросили: «Черт с ней, найдем еще что-нибудь. И только прошли немного, как начался у нас понос. Сперва у меня, потом у Андрея. Хлещем одной водой через каждые двести метров.

Под вечер наткнулись на огород при хуторе, нарвали моркови и кукурузы. Стемнело, решили идти дорогой: ни одной собаки пока не встретили. Но вскоре услышали сзади разговор: двое ехали на велосипедах. Мы залегли в кювет, думали нас не заметят. Велосипедисты проехали, да, видать, углядели.

7

Только подходим к деревне, а на нас: «Ранкаю вершун!» Привели в деревню Барберишки, волостной центр недалеко от Алитуса. Разбудили начальника полиции. Тому лет шестьдесят, седая волосатая грудь, похож на медведя. Накинул китель, добродушно ругается, что разбудили: «Все бегаете, не надоело вам, дуракам. Ну, я вам работу найду». И отправил нас на работу в госхоз, бывший совхоз, в километре от Барберишек.

В госхозе на разных сельхозработах было человек тридцать пленных. Убирали снопы в ригу. Охранял один литовец. Мы работаем – он стоит. Кормили хорошо: утром и в обед – жирный суп со свининой. Исключительно кормили. Спали на втором этаже двухэтажной школы. Пленные – в большой длинной комнате. Дверь в нее была не заперта. Влево и вправо от нашей

комнаты – уборная и комната охранника. Низ в школе запирался.

Проработав в госхозе три дня, мы с Андреем решили бежать. Вечером в школе связали жгутом обмотки, свои и чужие. Остальные пленные видели все это, молчали. Андрей и тут сразу стал главным. Чуть что – берет за грудь: «Ты, тварь, молчи!»

Вышли в коридор. Андрей приоткрыл дверь к охраннику – тот спит. Одежда на табурете, рядом винтовка. Андрей зашел в комнату, взял китель, винтовку. Я ему шепотом:

– Куда винтовку?

– Пригодится

И мы спустились по обмоткам со второго этажа.

Попались мы после этого побега на второй день. Поймали нас опять литовцы. Подробностей не помню. Кажется, в Довгелишках. Нас поместили в тюрьму уездного города Мариамполь.

В это время немцы выкапывали трупы своих офицеров, погибших при наступлении, чтобы перезахоронить их на центральной площади Мариамполя. Рядовых оставляли на месте, потом, позднее, над ними ставили кресты.

Провиденциальны злоключения, которые история уготовила останкам обер-лейтенантов, гауптманов, майоров, столь нордически необоримо определивших судьбу моего героя:

Фронтовая могила, прощальный залп над нею.

Торжественное перенесение на центральную площадь Мариамполя.

Переход в небытие в 1944 году, когда фронт прокатил обратно на запад, и все немецкие воинские захоронения были стерты с лица земли.

Того гляди, новое воплощение после 1991-го.

Пока же, в 1941-м, литовцы, выполняя приказ новой власти, исхитрялись делать эту тошнотворную работу руками русских пленных.

В тюрьме вместе со мной и Андреем пленных было шесть человек. Ежедневно всех шестерых литовцы вывозили на места фронтовых захоронений. Тюремная охрана была полностью литовская, и на работе нас охраняли тоже литовцы.

Немцы лежали группами по трое-четверо рядовых, с ними – один офицер. У каждого своя могила. Над могилой крест с надписью. Тела лежали на спине, со скрещенными на груди руками, без гробов, завернутые в шинели. Почему-то почти все офицеры были капитаны – гауптманы, как их называли литовцы. В одном месте, районе двух хуторов, на протяжении пары километров выкопали за день разом не то шесть, не то восемь офицеров. Особенно запомнился один гауптман: осклабился, золотые зубы торчат… Вонища страшная, охрана держалась

метрах в десяти.

В тюрьме нам опять давали баланду, но мы ее не ели. Мы кормились здесь хорошо на золото с немцев. За одно кольцо повара-литовцы давали кусок сала килограмма на два. Золотые зубы выбивали лопатой или каблуком.

Виктор хищно оскалился, сгорбился по-волчьи, резко, с отвращением, пнул каблуком: «Вот так!»

Я зубов не выбивал, был еще доморощенный, переносил все болезненно, относился к таким вещам с содроганием. Потом Андрей меня натренировал. Я стал более жестоким. Андрей умел подавлять всех. Его боялись. Я был при нем на второстепенных ролях.

Через неделю такой работы Андрей решил: «Надо бежать. Охрана туфтовая. Бежим в большие леса. Там спрячемся. Наверняка там есть и наши».

В день, намеченный для побега, мы работали на большом, по-видимому, кулацком хуторе. Один литовский охранник ушел обедать, второй остался при нас. Первый приходит с обеда – осталось только четверо пленных: двое сбежали, не сговариваясь с остальными. Нас выстроили, вышли хозяин хутора, с бородой, выпивший, хозяйка, дети. Один охранник-литовец хорошо говорил по-русски, спрашивает:

– Где двое?

– Не знаем…

Литовцы отошли и стали по-литовски переговариваться. Я как-то понял по их взглядам и выражению лиц, что они решили одного из нас убить – как бы при попытке к бегству, чем и оправдаться за побег тех двоих.

Вызывают меня, пихают в сарай прикладом и ногой.

Хозяин подходит к ним и, как я понимаю, говорит: «Не в моем дворе…»

Хозяйка встала на колени, просит, чтобы не убивали здесь, при детях…

Я все это чувствую, как будто понимаю по-литовски. Страшно перетрусил. Тоже упал на колени, хватаю их за ноги…

Видимо, все это подействовало на охранников. Они построили нас и увезли в тюрьму.

8

На следующий день литовцы отправили нас на грузовой

машине в Каунас и сдали немцам, снова в восьмой форт.

После торфоразработок на Козловой Руде мы опять увидели немцев только в форте.

Это был конец сентября – начало октября. В форте все было по-старому. Но дня через два в нашей жизни произошли такие события.

Баланду выдавали у входов в казематы из походных кухонь. Каждый был внесен в список при своей кухне. Повар наливает баланду, второй – отмечает крестиком номер в списке. У каждого из нас номер нашит на одежде.

В то утро я выскочил в очередь за баландой, забыв на нарах свой немецкий списанный френч, на котором был нашит мой номер. Бежать за ним – еще минут сорок стоять заново. Подошла очередь. Повар не наливает: нет номера. Я прошу: «Ребята, извините, забыл китель». Меня повар ударил черпаком: «Ты что тут путаешься!» А тот, кто ставит крестики, – ногой под жопу.

Откуда– то появился Андрей: «Гад, что ты делаешь!» Взял повара руками за грудь и ударил головой в лицо. Тот – с катушек, закричал: «Караул! Убивают!»

Мы убежали. В каземат было нельзя. Купили нору. Сидим в норе день. Кто-то выдал, и к нам приходят полицейские с повязками, отводят в карцер. В лагерном карцере давали баланду один раз в день и лишали возможности работать в городе. В лагерной полиции вначале было засилие контрреволюции. Сплошь махровые гады. Немцы об этих внутрилагерных делах и знать не знали.

Через три-четыре дня приходит в карцер старший переводчик, парень лет двадцати шести, русый, в хромовых сапогах. Ему подчинялись все – и повара, и переводчики. Прошелся, заложив руки за спину.

– Ну, как, хлопцы, живете?

– Живем, – отвечаем, сидя на нарах.

– Москвичи есть?

– Я – москвич, – откликаюсь.

– Откуда?

С Плющихи, 4-й Ростовский переулок.

Там жила тетя Варя, моя молочная мать.

– Как сюда попал?

Я рассказал ему про оставленный номер и все остальное. Он смотрит надменно:

– Землячок, значит, по-земляцки, – и ушел.

Через час открывается дверь, входит полицай:

– Кто здесь москвич?

Мы молчим.

– Кто здесь разговаривал со старшим переводчиком?

Признаюсь:

– Я.

Полицай протягивает буханку хлеба и пачку маргарина.

Дня через два опять появляется старший переводчик, спрашивает отечески:

– Ну, как – надоело сидеть?

– Надоело, – отвечаем.

– На работу пойдете?

– Пойдем.

Завтра утром займите очередь. Я вас отправлю.

Дал команду – выпустить нас утром из карцера. Утром у ворот твориться невесть что. Толпа желающих на работу. Андрей идет сквозь толпу, как хозяин. Я в жизни видел много волевых людей, но таких больше не встречал. Он смотрел на людей, как Вульф Ларсен у Лондона. Его звали в лагере Цыган, знали и боялись. Похоже, по натуре ему было что человека убить, что клопа раздавить. Там в толпе теснились деревенские лбы, вроде Бородавки. Он дает такому коленом под зад: «А ну, подвинься!… Двинься – я тебе сказал!» Тот оторопеет – Андрей проходит, я – за Андреем, Толя Сидоров – за мной. Мы успели Толю найти. Так прошли почти до самых ворот.

Нас, числом шесть человек, взял на работу немец, гауптман. В очках, белобрысый, чувствовалось, интеллигентный человек. Надо было строить ему персональный гараж. Утром, перед началом работы, часов в десять пригласил нас на веранду, хорошо покормил. В обед опять – картошка с мясом, много хлеба, стопка водки, граммов на сто.

Весь первый день мы копали ямки для столбов. Нас охранял один солдат, сидел весь день на веранде, курил, на нас не глядел. Гауптман остался доволен работой. Хлопал по плечу: «Меншен гут. Завтра придете ко мне». Я изо всех чуть-чуть говорил по-немецки. Работу в первый день кончили часов в пять. Нас опять покормили, без водки, но хорошо.

Мы трое решили на следующий день бежать. Трем чужим об этом не говорили.

На другое утро мы уже стоим у ворот с лопатами и кирками. Их выдавали в форте. Входит гауптман со вчерашним солдатом, охранником. Увидел меня: «А, менш, менш». И мы пошли с ним. Опять нас хорошо покормили в завтрак и в обед. Сначала ел гауптман, что любопытно, – охранник вместе с ним. Потом приглашали нас. Наливали по сто граммов водки. Они много ее захватили. Гауптману мы были, в общем-то, безразличны. Все хлопал по плечу: «Гут, гут».

В этот день мы поставили столбы, стали обшивать их досками. Солдат сидел на веранде, курил.

Стало смеркаться, было часа четыре вечера. Мы незаметно – один, другой, сразу третий проскользнули из двора на улицу и строевым шагом – лопаты и кирка на плечо, Андрей впереди – замаршировали по мостовой, а не по тротуару через центр Каунаса к железнодорожной станции. Ориентируясь по паровозным гудкам, вышли точно на нее уже в густых сумерках, часу в шестом.

Это было примерно десятого октября. В тот год была ранняя зима: через три дня выпал снег.

Виктор расслабился, закурил.

Пользуясь передышкой, уже я рассуждаю:

– Как это просто у вас получилось. Прошли весь город. На станции – мимо немецких жандармов…

Виктор усмехнулся:

– Странный ты человек. Там, в Литве, было мирное время. Фронт ушел к Москве, и остались литовцы. На станции немцев не было, может быть, один комендант. Рисковали встретиться с контролером. Он опознал бы по акценту, сообщил своей литовской полиции. Та поймала бы и передала немцам.

Вообще, все это время был какой-то калейдоскоп событий. Часто думаю: не придумал ли я – или это было. Но все это было. Шла простая борьба за существование. И нас несло, как в водовороте, хотя борьба за жизнь и окрашивалась для меня тем, что я был коммунист и патриот.

Почти дословно о событиях начала войны как о вселенском стихийном катаклизме говорит и второй мой герой.

Передаю ему слово, со странным чувством вины покидая Виктора Лапаева в далеких сумерках октябрьского вечера 41-го года на железнодорожных путях Каунасской станции.

ГЛАВА II
СРЕДЬ МОЛНИЙ

И. С. Косов

1

Мой папенька, Сергей Ильич Косов, был родом из Днепропетровска – тогда Екатеринослава. Его отец, мой дед, Илья Самойлович Косой, был дамский портной.

Фамилия у отца поменялась в восемнадцатом, когда его оставляли в подполье у немцев. В подпольных документах ему заменили «Косой» на «Косов». Новая фамилия отцу понравилась – так и осталось.

У деда было две дочери: Рая и Анна и три сына: Сергей – мой отец, Серафим и Моисей.

Серафим в гражданскую войну лет семнадцати уехал во Францию. Там связался с анархистами. Они убили жандарма, их судили, сослали на каторгу в Новую Каледонию, где он и помер.

Дядя Мося был босяк жуткий. Работал завгаражом гастронома. Как говорил Бабель, об чем думает такой биндюжник? Он думает об своих лошадях, об выпить рюмку водки, об набить кому морду.

Раз они с зятем, Раиным мужем, крепко выпивши, выходили из ресторана. К ним пристали двое. Дядька принял вызов. Раин муж был трус ужасный. Он спрятался в ближайший подъезд, заложил дверь какой-то железякой и со страхом следил за битвой. После дядькиной победы он долго не соглашался выходить из укрытия:

– Я боюсь.

Дядька часа два его оттуда выкуривал.

Дед, Илья Самойлович, был очень строг. Женился отцов приятель. Отец был шафером и хотел приодеться. Дед попросил своего друга, мужского портного, построить сыну настоящий костюм. Тот пошил солидную двубортную тройку на вырост. Папенька огорчился: ему-то хотелось модного однобортного костюмчика. Но он и сам был богатым молодым человеком:

служил шофером у Екатеринославского предводителя дворянства и получал сто рублей в месяц. Сшил себе, чего хотелось. Явился на свадьбу. Встречает деда, тот шел навстречу с блюдом в руках. Дед рявкнул: «Сморкач! Моли бога, что у меня руки заняты».

2

Отца призвали в 1914 году. Он служил в четырнадцатом железном стрелковом фельдмаршала Гурко полку. Этот полк до четырнадцатого года стоял в Одессе, входил в четвертую железную бригаду. Во время войны бригада преобразовалась в четвертую железную дивизию, командиром которой был поставлен Антон Иванович Деникин. Довоенный командир отцова полка Станкевич стал командовать бригадой. После революции он перешел на сторону красных. В девятнадцатом попал к деникинцам – своим! – в плен и повешен за отказ перейти в Белую армию. Потом его перезахоронили у Кремлевской стены.

Отцовым полком после ухода Станкевича на бригаду командовал Бален де Балю. Солдаты его любили. В семнадцатом году, когда офицерам отрывали головы, полк отрядил команду солдат, чтобы отвезти его с румынского фронта домой, в Одессу.

Вот характерный и для папеньки, и для командира полка эпизод. Дивизия шла с юго-западного фронта на румынский через Балту. Отец сказал себе: «Не я буду, если не смотаюсь домой». И смотался на восемнадцать дней. Сквозь все контроли и патрули догнал полк в Румынии. Явился к командиру полка. Бален де Балю сидел на веранде и брился.

– Ваше высокоблагородие, старший унтер-офицер Косой из самовольной отлучки явился!

– Мерзавец!

– Виноват, Ваше высокоблагородие!

– Сколько дней был в отлучке?

– Восемнадцать дней, Ваше высокоблагородие!

– Молодец.

– Рад стараться, Ваше высокоблагородие!

– Поди, скажи ротному, что я тебя уже отругал.

Бален де Балю служил потом в Красной Армии. Был начальником штаба дивизии. Я его видел в тридцать восьмом в Одессе. Мы шли с отцом. Навстречу двигался громадного роста старик с большущими седыми усами. Мой папенька подтянулся, перешел чуть ли не на строевой шаг, шепнул мне: «Это мой

комполка». Они остановились, поговорили. Тогда, в тридцать восьмом году, Бален де Балю был главным бухгалтером курортного управления. Отца он хорошо помнил.

Отец служил в первой царевой роте. Имел часы Буре за стрельбу и вагон крестов: полный бант четырех крестов и четырех медалей. Кресты остались у деда Екатеринославе. Куда делись – неизвестно.

Второй крест он получил из рук самого Антона Ивановича Деникина. Отец взял в плен четырех чехов. Тогда был порядок, что пленных по начальству представлял сам их взявший. Отец и повел своих сначала в батальон, потом в полк, потом – в штаб дивизии. Сцена у А.И. Деникина: «Что, взял пленных?» Протянул назад руку, в ней появился крест, и сам Антон Иванович приколол крест отцу на грудь.

У моего папеньки было шесть тяжелых ранений. Пулей навылет было пробито горло. Не задело сонных артерий, но всю жизнь не мог есть капусту.

В русской армии была строгая система комплектации: раненый после госпиталя шел в свой запасной полк, а из него возвращался туда, где служил до ранения. В Красной Армии этого, к сожалению, не было.

Отец после одного ранения попал в запасной полк в Одессу. Выпил, подрался – угодил на гауптвахту.

Тогда был порядок: с георгиевского кавалера на время гауптвахты кресты снимались перед строем батальона. После гаупвахты опять выводят батальон и перед его строем кресты вешают обратно. Отца хотели было выпустить с гауптвахты без этого церемониала. Отец поднял шум и добился отпущения по полному параду.

В шестнадцатом ему шрапнельной пулей пробило череп, затылок слева. Он ослеп и оглох. Лежал в астраханском госпитале, в Морозовской больнице. За ним ходила медсестра, которую он не видел и не слышал. Был там хороший хирург. Отец узнавал его по густому перегару, как только тот входил в палату. Этот хирург сделал отцу трепанацию черепа. На следующее утро отец проснулся прозревшим и заорал с перепугу. Прибежал хирург, дохнул знакомым духом, крепко выругал за нервность.

Много позже отец шел по улице Мелитополя. Неожиданно у него возникло странное чувство узнавания к идущей перед ним незнакомой женщине. Он последовал за ней. Та стала оглядываться, потом остановилась:

– Мужчина, Вам чего от меня надо?

– Простите, но я чувствую, что знаю Вас.

Женщина пригляделась и узнала отца. Это была та самая, ни

разу им не виденная и не слышанная астраханская медсестра.

3

После семнадцатого года отец сразу встал на сторону красных. В восемнадцатом был секретарем военно-революционного комитета в Тирасполе. Вернулся в Екатеринослав и воевал во всяких отрядах и отрядиках с гайдамаками, националистами. Одно время отец командовал бронеотрядом, его отряд назывался «Серп». На параде, который они себе устроили, броневики прошли площадь и встали.

Однажды в екатеринославской гостинице «Пальмира» отца и еще одиннадцать человек схватили гайдамаки. Повели расстреливать. Конвой – пьяный в дугу. Отец знал в городе все ходы и выходы. Проходили мимо двора бани. Отец шел последним. Схватил за штык винтовку конвоира – тот потянул на себя. Отец толкнул – конвоир упал. Отец метнулся во двор – на какие-то бочки – через забор и ушел. «Так, – рассказывал, – я быстро взлетел». Сбежало четверо, восьмерых расстреляли.

Екатеринослав все время переходил из рук в руки. В одну из таких перемен гайдамаки шуганули красных, тогда еще в компании с махновцами, из города: «Бежали, как собаки». Отец лежал с пулеметом у моста, отстреливался.

– Сережка, пора бежать, – кричит ему приятель.

– А куда мне спешить: патроны еще не кончились.

Когда Екатеринослав в восемнадцатом году заняли немцы, отца оставили в подполье организовывать и вооружать рабочих. Позарез надо было перевезти через Днепр оружие. Немцы всех на мосту обыскивали. Отец нашел возчика, коренного австрийца, договорился с ним. Отец шел впереди лошади. Его обшарили, ничего не нашли, пропустили. Австриец заговорил с патрулем по-немецки, и его не стали обыскивать.

При немцах отец ночевал в разных местах. Раз он зашел домой, к деду. Достал из карманов два пистолета, положил на буфет. И тут – надо же – немцы с обыском. Они расстреливали всех, у кого находили оружие. Перетряхнули у деда все, а на буфет не взглянули. Когда они ушли, дед сказал:

– Чтоб ты с этими игрушками ко мне не являлся.

В девятнадцатом году красные уходили из Полтавы. У отца была пробита рука, и ему поручили попрятать раненых, которых нельзя было увезти. Он пошел за помощью к В. Г. Короленко,

который жил в Полтаве и которому было все равно, какого цвета – белого или красного был человек, нуждающийся в защите. Короленко помог распихать раненых по безопасным местам.

Имя нашего великого правозащитника удивительным образом связано и с судьбой жены Игоря Сергеевича – Полины Григорьевны. Мать Полины – Анна, урожденная Быховская, пережила в детстве такую страшную историю.

Она жила тогда на Украине, в городе Почеп. В дом ее деда ночью пришли двое. Убили деда и бабушку. Уходя, убийцы ударили ломом по голове шестилетнюю плачущую девочку – Анну. Она осталась жива, со вмятиной в голове на всю жизнь.

Был громкий процесс об убийстве семьи Быховских. Анну приводили на опознание. Перед ней выстроили десять мужчин и спросили, кого из них она знает. В ряду подозреваемых стоял их дворник, и девочка показала на него. Дворника и казнили как убийцу.

Владимир Галактионович Короленко в своих статьях яростно протестовал против того, что приговор был вынесен на основании показаний шестилетнего ребенка.

В девятнадцатом году отец служил в 1-й Заднепровской дивизии у Дыбенко. Тогда у Махно с Дыбенко все время шли переговоры: Махно то входил, то выходил из Красной Армии. Махно числился в дивизии Дыбенко третьей бригадой, второй командовал Григорьев. Отец был у Махно комиссаром бригады.

4

В контрразведке у Махно служил Зиновий Аронович Вальдман, который вполне мог сойти за прототип Левки Задова у Алексея Толстого.

Я ахнул:

– У Махно – контрразведчик еврей!

Игорь Сергеевич отмахнулся:

– Вы меня извините, какие там махновцы антисемиты! Среди них были евреи.

Зиновий Аронович был из очень приличной семьи Вальдманов из Ростова-на-Дону. Его брат был главным инженером Югстали. А сам Зиновий оказался таким авантюристом!

Отцу, когда его направляли к Махно, сказали что Вальдман заслан из ЧК. Они с тех пор дружили до самой отцовой смерти.

В тридцатых годах Вальдман был заместителем Передерия, директора Харьковского мясокомбината. В тридцать седьмом Передерия посадили. Вальдман пришел домой: «Алеша, собери мне чемоданчик». И исчез. Куда – неизвестно. Свои звали жену Вальдмана «Алеша», а его самого «Зоя». Потом Передерия выпустили. Появился и Вальдман. Узнал, что следователь избивал Передерия и интересовался им самим. Звонит следователю:

– Вы мной интересовались?

– Но Вы сейчас мне не нужны.

– А мне хотелось бы с Вами встретиться.

Встретились в ресторане, выпили, потом Вальдман избил следователя до полусмерти: «За то, что бил Передерия».

Не боялся ничего и никого. Году в сорок третьем в Москве милиционер при нем пристал к старушке, продававшей что-то на улице. Зиновий Аронович встрял, милиционер обозвал его жидом. Вальдман его избил и попал в штрафной батальон. Потом воевал в Латышской дивизии. Пришел с войны – весь в орденах.

Он приезжал к нам, когда ему было лет семьдесят. Умывается до пояса – весь налитой, как борец. Брил голову, как Котовский.

Отец говорил, что Махно был очень неплохой мужик. Надо было только успеть первым заговорить с ним. На него сильное влияние имела его жена Галина. Про него много всякого писали: пьяница, развратник. Все это ерунда. Пил, как все. Заедал сырым яйцом. Он умер рано, в эмиграции, во Франции. На ступеньках бистро, спускаясь туда с дочерью. Сначала там бедствовал. Никакого золота, как писали, он не вывез. Потом стал жить лучше: французы приспособили его читать в военной академии курс тактики партизанской войны.

В двадцать девятом году мы с отцом и матерью отдыхали в Бердянске. Там я в первый раз увидел море. Остолбенел, открыв рот, а потом прямо в одежде рванул в море. Меня вытащили отдыхающие. Смеху было! Мы жили в гостинице, где в свое время стояли отец и Махно. Отец показывал столик, за которым они вместе с Махно ели.

В той же гостинице отца и еще четверых большевиков махновцы арестовали после разрыва с красными. Вечером в номер, куда их посадили, пришел отцов земляк, студент-анархист из Екатеринослава: «Братцы, вас утром расстреляют»… И выпустил всех пятерых.

Как в песне про матроса Железняка, они пошли на Мелитополь и вышли к Ногайску. Трое решили идти через город. Там их поймали махновцы и расстреляли. Отец с Дмитрием Захаровичем Минским, таким же комиссаром у Махно, как и отец,

прячась в хлебах, пробрались в соседнее село. Нашли в селе матроса-большевика. Он сказал им: «Я сам здесь среди махновцев. Если нас возьмут – расстреляют всех троих. Идите, могу дать два нагана».

Пошли. По дороге встретили повозку с молодым немцем-колонистом. Пригрозили ему наганом, и тот довез их до Мелитополя, где стоял штаб дивизии Дыбенко.

Добрались, а в штаб их не пускают: такие они были оборванцы. Как раз в этот момент выходит из штаба Дыбенко. Увидел их – хохотал до упаду. Отец на него ужасно обиделся.

Дыбенко поставил отца командиром кавалерийского полка в своей дивизии.

Минский потом стал кадровым военным. Погиб командиром дивизии в 43-м году.

Интересно, что отцу выпало спасти знаменитую Асканию-Нову. Мужики хотели ее разграбить и сжечь. Дыбенко приказал не допустить этого. Отец поднял ночью полк и повел на Асканию-Нову. Черным-черно. Отцов конь налетел в темноте на колодец, и отец через голову коня влетел прямо в жерло колодца. Умудрился зацепиться, а то бы – верная смерть. Колодцы там страшенной глубины. Доскакали. Только-только успели расставить вокруг Аскании разъезды – в ночи появились огни, стали подходить мужики. Но пришлось селянам разъезжаться ни с чем.

5

Мой отец и женился на гражданской войне. Он был ранен в ногу и контужен. На время лечения его назначили комиссаром санитарного поезда. Там он познакомился с медсестрой, моей будущей маменькой, Натальей Степановной, урожденной Томилиной.

Где– то под Брянском она однажды зимой выпала между вагонами: не заметила, что нет переходного мостика. Повезло – упала между рельсами. Стала подниматься – ей по голове сцепкой. Какой-то санитар увидел это, стал стрелять, остановил поезд. К ней прибежали. Отец думал – найдет форшмак. А мать больше всего боялась, что поезд уйдет, и она замерзнет в одном халатике.

После гражданской войны мать с отцом молодоженами приехали в Сумы знакомиться с ее родителями. Отец сомневался, как они его примут:

– Муж у тебя, Наташа, прямо скажем, – с палкой, да еще к тому же – еврей.

Мать отрезала:

– Не примут – повернемся и уйдем.

Но ничего. Бабушка любила его сильнее всех зятьев и пережила отца в пятьдесят седьмом году всего на месяц.

Моя мать по материнской линии была из Пашковых, того самого дома, где «Ленинка».

Дед со стороны матери носил стало быть фамилию Томилин. Станция Томилино, говорили, – их родовое имение. Он кончил Московский университет по юридическому факультету. Удивительно много знал. Считал, что читать надо на языке подлинника – немецком, французском… Написал книжку о канарейках.

Был юрисконсультом табачной фабрики и акцизным инспектором по сахару в Сумах. Терпеть не мог получать зарплату золотыми: «Невозможно унести домой, тяжело».

Он часто бывал на сахарном заводе богатейшего сахарозаводчика Лоренца и очень тому нравился. Лоренц держал для него персональный домик. Завтракали, обедали, ужинали вместе.

Лоренц однажды сказал ему:

– Если Вы не увидите, как сахар уйдет – у Вас будет сто тысяч.

– Нет, я не могу, – ответил дед.

Все отношения после такого предложения остались прежними.

Дед умер в 34-м году. До конца жизни, помню, ходил в чиновничьей фуражке: зеленый верх, черный околыш.

6

Как ранее уже было сказано, Игорь Косов родился в 21-м году. В 24-м году его отец демобилизовался. В рассказах Игоря Сергеевича разворачивается причудливый калейдоскоп хозяйственных должностей, которые потом отец занимал на Украине. Должностей, я бы сказал, весьма высокого номенклатурного ранга: директор Харьковской нефтебазы, построенной еще Нобелем, гендиректор Богодуховского объединения «Выробництво чоботив» (четыре фабрики, один кожевенный заводик), замнаркомторга Украины, а с 35-го года Сергей Ильич был начальником инспекции

«Укрнефти». Нефть по двум трубопроводам Грозный – Туапсе и Баку – Батуми шла тогда к Черному морю. Десять танкеров перевозили ее в Одессу, и вся европейская часть Союза снабжалась нефтью отсюда.

У Сергея Ильича была в Одессе под началом нефтегавань, и он с апреля до осени уезжал туда. Был членом Одесского Облисполкома.

В Одессе тогда работал знаменитый скрипичный профессор Столярский. Он вырастил Ойстраха, Бусю Гольдштейна и других скрипичных гениев. У него была своя «Школа имени Столярского». Он говорил: «Школа имени меня». Когда очередная мамаша приводила к нему своего сына, он после прослушивания чаще всего ставил такой диагноз: «Мадам, Ваш сын не имеет надежд на растение».

Столярский, как и Сергей Ильич, был членом Облисполкома. Он славился своей пунктуальностью и всюду появлялся вовремя на своей «Эмке». Вдруг опоздал на одно из заседаний. Был страшно сконфужен: «Я ехал на своем „Мэ“ – так у меня кончилось горячее».

Гроза 37– 38 годов не миновала и Сергея Ильича. В этом – параллельность даже таких штрихов биографий И. Косова и В. Лапаева. Опять в рассказе – живые детали, приметы, знаки времени… Сергей Ильич был исключен из партии с формулировкой: «Неразоружившийся троцкист. Двурушник. Антипартийное поведение на областной партконференции, выразившееся в сколачивании антипартийной группировки».

В этом месте повествования Игорь Сергеевич сложил крестом два пальца: «Пахло…», рассказал, что отца спасло подпольное, еще по Екатеринославу, знакомство с Емельяном Ярославским и так продолжил свои воспоминания:

В Киеве Косовы жили в одном доме с Якирами, Постышевыми, будущей актрисой Эленой Быстрицкой. Их соседками по квартире были две двоюродные сестры Троцкого. В 41-м они не захотели эвакуироваться из Киева: «Немцы же культурная нация. Мы их помним по восемнадцатому году». Обе погибли в Бабьем Яре…

7

Я с девятого класса решил пойти в Киевскую артиллерийскую спецшколу № 13. Одновременно ходил в танцевальный ансамбль Вирского. Тогда он был любительским, а ныне – Академический ансамбль украинского танца. Потом нам четверым: Боре Сичкину,

Боре Каменковичу, Изе Соломяке и мне предложили остаться профессиональными актерами. Двое первых согласились. Сичкин (Буба Касторский из «Неуловимых мстителей») сейчас живет в США, Каменкович стал балетмейстером Киевского театра оперы и балета, а мы с Изей не захотели.

Моя 13– я школа была спарена с 1-м Киевским артучилищем. Это училище было на конной тяге, и нас в школе учили верховой езде. На лошади я ездил, как бог. Снимался даже статистом в «Щорсе». Меня можно узнать со спины там, где отряд поднимается в гору.

В конце школы у нас был конкурс аттестатов в Третье Ленинградское повышенное артиллерийское училище ЛАУ-3. Меня отобрали. Я не сопротивлялся: привлекло «повышенное», хотя, конечно, хотелось остаться при родителях.

Это было Михайловское царских времен артучилище. Курсантов так и звали «михайлоны». ЛАУ-3 готовило кадры для артиллерии большой мощности, 203– и 280-миллиметровых гаубиц и пушек. Нас считали артиллерийской интеллигенцией. Никакой дедовщины и близко не было.

В училище были прекрасные преподаватели, в большинстве – еще царские офицеры. Они проповедовали принцип: «Врать нельзя. Вранье приводит к поражению». Исключительно уважительно относились к нам. Он – полковник, ты – курсант, а с тобой на равных. Не любили, чтобы их боялись. Нас, курсантов, знали и помнили.

В августе 41-го стою я – руки кверху, арестованный в Луге как немецкий шпион. «Косов?» – узнает меня полковник Карбасников, комендант Луги, наш бывший преподаватель.

В 42– м спускаюсь в землянку под Синявиным к начальнику артиллерии корпуса. Темно. Вижу знакомые усы – Лебедев, был у нас полковником в училище. Он воззрился на меня: «Простите, Ваша фамилия не Косов?» Был мне рад.

Однажды, намаявшись на чистке 280-миллиметрового орудия, я сел на место гусеничного и закурил. Курить при пушке – грех смертный. Тут же возникла громадная, потрясающей выправки фигура полковника Градусова, нашего дивизионного командира. Показывает мне четыре пальца, улыбаясь, спрашивает:

– Сколько?

Имелось в виду суток гауптвахты. Я мгновенно ответил:

– Два!

Ему страшно понравилось, он все прощал находчивым:

– Получи «два». Иди – покуришь там. Доложи командиру батареи.

Градусов любил учения по теме «Пожар». Кончалось скверно: спальня полна воды. Раз опять:

– Пожар!

– Где?

– В канцелярии!

Кинулись туда с брандспойтом. Но выскочил капитан Цесарь. Выхватил брандспойт и высунул его в форточку. Цесарь был училищной знаменитостью. Потом, генералом в отставке, директорствовал в кинотеатре.

Меня в училище звали Апулий. Так и зовут с тех пор при встречах выпускники училища и тогдашние преподаватели. Получилось так. Я купил в букинистическом магазине «Золотого осла», голубенького, издания Академии. Положил книгу на полку. Как-то вскоре приходит наша рота из бани. К нам вышел командир батареи Тарасов, руки за спиной: «Косов! Шаг вперед». Шагнул, думаю: «За что бы это?» Тарасов вынул из-за спины руку с голубеньким томиком. «Некоторые курсанты, выходя из своей компетенции, вместо того чтобы изучать уставы и повышать свою боевую подготовку, читают чуждые нам вещи – какого-то Апулия», – сказал он, крепко нажав на «у». Рота повалилась.

На другой день встречаюсь с командиром училища:

– Скажите, Косов, действительно Тарасов упрекал вас за то, что вы читаете Апулея?

– Так точно.

Тот схватился за голову:

– Ну и дурак.

Через неделю вернул книгу мне, посоветовав не держать ее на виду. Тарасов же через неделю перевелся из училища на другое место службы. Он был простой, прямой, служака из красных офицеров. После войны ребята встретились как-то с Васькой Тарасовым на Невском. Без ноги, на протезе. Когда расстались с ним, вспомнили про Апулия – так хохотали…

Нас учили хорошо. Марка училища была очень высокой. У меня есть книга «Приказы Верховного главнокомандующего». Среди отмечаемых там артиллеристов масса знакомых фамилий и много наших преподавателей.

В ЛАУ– 3 было два профиля: огневой и АИР – артиллерийской инструментальной разведки. Я был огневого профиля – «огневик», и все мои приятели были огневики. Между нами и аировцами был вечный дурацкий антагонизм. В классе связи висел плакат: «Рожденный мерить стрелять не может».

В училище я пробыл три года и был выпущен в неполных двадцать лет весной 41-го года.

Тогда формировались первые четыре дивизиона и девять отдельных батарей «катюш». Командиры этих батарей Флеров, Кун, Куйбышев,… почти все погибли. Многие выпускники ЛАУ-3 этого года были направлены в новую для всех нас реактивную артиллерию. Я тоже.

Попал в 439-й отдельный артиллерийский дивизион. Стояли в Алабине, под Москвой. Дивизион еще только должны были сформировать из трех батарей по девять установок. Каждая установка – это боевая машина с восемью спаренными направляющими для шестнадцати реактивных снарядов. В штатной батарее потом было четыре установки. Если бы меня спросили сейчас, я бы сказал, что в батарее должно быть шесть установок. Тогда многие задачи можно было бы решать батареей, не привлекая дивизион.

Командиром дивизиона был капитан Левин. Маленький, с редкой тогда «Красной Звездой». Я у него был командиром взвода управления первой батареи.

В один прекрасный вечер Левин вызывает меня:

– Бери расчет, бери машину – поедешь на Хорошевку, в Первое Московское артучилище. Там тебе дадут указания.

А у нас была пока единственная боевая машина на весь дивизион. Ее пригнали часа за три до этого разговора. Мы не успели даже задрать чехол. Отвечаю:

– Товарищ капитан, куда же я поеду: не знаю, как заряжают, как стреляют…

– Ничего, разберемся.

Мы с ним взяли «летучую мышь», сняли чехол с машины, посмотрели с фонарем, что смогли.

Приезжаю с расчетом на Хорошевку. Было 23.30. Спрашивают:

– Что ж так поздно? Езжай в Софрино, на полигон.

Приехал. Выходит дама на каблуках:

– Давайте ключи от машины.

– Никаких ключей Вам не дам.

Пришел начальник полигона, накричал. Мы загнали машину в гараж. Ночевали на голом полу. Пожевали сухой паек, запили водой.

Утром выехали на полигон, встали на площадку. Предстоят показательные стрельбы. Нам привезли снаряды, по два в ящике. Черные, вороненые – такая прелесть!

Военинженер 1-го ранга Аборенков говорит мне:

– Я тебе буду с вышки белым платком сигналить, а ты стреляй.

Шофер на машине у меня был Смирнов. Здоровый, как лошадь. Голова бритая, шея толще головы. Перед первым залпом я его высадил из машины.

Остался один. Опустил броневой щит над кабиной, вставил ключ, включил рубильник

Аборенков махнул белым платочком – я крутанул маховичок. Над головой полыхнули рев и пламя. Я стал мокрый со страха.

На второй запуск ко мне запросился Смирнов. Я опять крутанул маховичок – и вдруг сгорел предохранитель на пульте управления.

Спешно вставляю второй – сгорел и он. Смирнов зубами зачищает «жучка», вставил – выстрелили. С этим «жучком» машина потом и ушла на фронт.

Пока мы стреляли, стали подъезжать бронированные «паккарды». Прибыли Маленков и Микоян со свитой. Маленков тогда отвечал за формирование частей реактивной артиллерии. Они смотрели с вышки, как мы стреляем.

После стрельб Микоян спрашивает меня:

– Что у Вас было со вторым залпом?

– Сгорели предохранители.

– Где они?

Я достал из кабины, показал.

Ко мне обращается Маленков:

– Где вы ночевали?

– На полу.

Он поворачивается к свите:

– Организовать ночлег.

Снова ко мне:

– Как питаетесь?

– Сухой паек.

– Организовать питание. Организовать досуг.

Когда мы вернулись со стрельб, у меня уже был отдельный кабинет. У всех: у меня и у восьми человек расчета – постели. Нам организовали кино. Крутили американские картины. Я никогда больше такого шикарного репертуара не видел. Нам на команду дали повара, ресторанное питание, а мне – нарзан. Я постреляю, постреляю, попью нарзану. Мы жили так недели две. Последняя стрельба была 17 июня 1941 года.

19 июня нас несколько человек послали в командировку в 5-ю танковую дивизию. Она стояла под Алитусом, в Литве, километрах в двенадцати от германской границы.

– Зачем? С какой-то чепухой.

– Наверное, сгоняли Вас как младшего лейтенанта? – подкинул я сочувственную реплику Игорю Сергеевичу.

– Я, извините, был не «младший»: у меня было уже два «гвоздика».

22 июня обычно открывались летние лагеря. С вечера 21-го и следующим утром все чистились-блистились. Часов в десять выстроились на лагерном стадионе для открытия. Стоим, стоим – ничего не понимаем. Целая дивизия стоит два часа. Потом – команда, и вся дивизия ушла в лес. Все машины, парки, люди расползлись по лесу. Через пару часов на линейке было пусто – только деревянные бортики от палаток. Похоже, немцы не знали про этот лагерь, и все танки уцелели. Семнадцать танков БТ-7 (без гусениц по шоссе они давали до ста километров в час) пошли на Тильзит. Подняли у немцев такую панику… Потом все вернулись назад.

Как и от кого я узнал, что началась война – не помню. Был какой-то ералаш, никаких видимых признаков войны. Я здесь был чужой.

Вечером, где-то в половине шестого, немцы сбросили десант в лес рядом с лагерем. Я, конечно, увязался на прочесывание: «Как это без меня обойдутся».

Мы шли цепью по лесу. Тут я увидел первого живого немца. Он был одет в нашу форму, но его выдала мелочь – парабеллум. Он метров с пятнадцати хотел выстрелить в меня, но я его опередил. Выстрелил четыре раза из пистолета, как в лихорадке. Рукоятка пистолета стала мокрой.

Он схватился за живот, скорчился и упал. Я старался на него не смотреть. Этот немец мне потом долго снился. Недели две толком не спал. Потом как-то ко всему привыкаешь. Помогает нехитрая солдатская философия: либо ты его, либо он тебя.

На второй день войны нам в дивизии сказали:

– Уматывайте-ка вы, ребята.

И мы вернулись в Москву.

Не успел я оказаться в своем дивизионе, как попал в новую историю.

Тогда, в 41-м, хватали кого попало, совали куда попало, делали что хотели.

Тыкали перстом: будешь – и все! Командиру моего дивизиона сказали:

– Дай офицера.

Он не знал куда меня берут. Я тоже не знал.

Меня назначили старшим группы из семи человек и в первых числах июля послали в форт Инно под Финляндией. Стали учить диверсионному делу. А я уже был мастер на все руки. В училище преподавали и взрывное дело. Его вел полковник Латышев. Он не выговаривал букву «р», получалось, например, «б`уствe`». Мы его так и звали «полковник Брустер». Учил хорошо, с практикой. Привязываешь к столбу 200 граммов – ломает, как спичку. Понадобилось бы – я и сейчас смог бы взрывать.

Поставили нам задачу. Между Псковом и станцией Струги-Красные есть шесть железнодорожных мостов, вшивеньких, в один пролет. Они достались немцам целенькие. Нам и поручили их взорвать.

Учили прыгать с парашютом. Теоретически. Потом одели в штаны, пестрые, как из плащ-палатки, с накладными карманами и повезли на «дугласе» так, чтобы оказаться над целью в самое темное время белых ночей, часов в одиннадцать-двенадцать ночи.

Побросали нас и груз метров с двухсот на автоматическом открывании. Я прыгал в первый раз. Впечатление ужасное. Захлебнулся воздухом. Хряпнулся в болото по грудь. Наелся ряски. Додулся в манок до того, что за ушами заболело. Собрались.

Никто еще не воевал, боже мой! До мостов шли ночами. Днем отлеживались.

Мосты немцами не охранялись, и мы их рвали чистенькими. Совсем обнаглели. Идем к последнему, а он охраняется. Часовой помаячит, помаячит, заходит в будку. Потом опять выходит…

Мы дождались, когда он зашел в очередной раз. Я рванул дверь. Часовой стоял у печки и смотрел, как четверо остальных играли за столом в карты. Мелькнула мысль: «Во что?» Выскочил ответ: «В вист!»

И я в часового – шарах из пистолета! Другие мои ребята – из окон. Мы их и постреляли.

Смотрим – мост большой. Целиком подрывать – взрывчатки не хватит. Она была уже на исходе. Решили рвать с одного конца. Меня спустили на веревке под настил заложить заряд. Неудачно привязали веревку – чуть не задушили. Начинаю хрипеть – меня вытащат, вздохну и опять вниз. Впопыхах обрезал как попало

бикфордов шнур. Оказался коротким. Стал шнур поджигать. Толстыми такими саперными спичками, обжег палец. Кричу:

– Тащи!

Меня выдернули, и мы побежали вниз по насыпи. На полпути как жахнет! Я закрыл голову руками и закувыркался. Полетели камни.

К своим надо выходить в Лугу, километров за полсотни. Двинулись.

Ранним утром подошли к реке, решили выкупаться. Вымылись, а так уже измучились, что не заметили, как уснули на бережке. Просыпаюсь. Меня охватил ужас: солнце стоит высоко, и мы спим у всех на виду. Схватился за автомат – тут! Мы в панике слетели в реку, прятаться под ивняк. Стал оглядываться в бинокль.

– Ребята, – говорю, – наши!

Вылезли, попросились на полуторку до Луги.

Подъезжаем в Луге к вокзалу. У нас были деньги, но никаких документов. Жрать хочется. Заходим в вокзальный ресторан. Тогда карточки только вводились, и еще все продавалось за деньги. Нам притащили гору всего-всего. Но не успели мы начать, как раздалось:

– Руки вверх!

В начале войны все ловили шпионов. Нас окружили, разоружили и повели по городу в штаб гарнизона. Вокруг человек пятнадцать со штыками наперевес. Народ сбежался, мальчишки орут:

– Шпионов поймали! Ты посмотри, какие штаны!

Привели к штабу. Он был в местном санатории, в одноэтажном деревянном доме. Поставили лицом к стене. Стоим. Руки ужасно затекают: даже за шею не позволяют заложить. Чуть опустишь – тебе шпилькой в зад. Больно.

Я стоял крайним, у крыльца. Вдруг боковым зрением вижу знакомую фигуру: мой преподаватель по училищу Карбасников. Повернул к нему голову:

– Товарищ полковник, разрешите хоть руки опустить.

Он изумился:

– Косов, а Вы что здесь делаете?

Объяснились. Он, оказывается, – начальник гарнизона в Луге.

Вспомнил:

– Мне говорили, что выйдет группа какого-то Косова. И подумать не мог, что это Вы.

Он был из дореволюционных генералов. До войны на стрельбах я курсантом был приставлен к нему для посылок. Слышу, он обращается к соседу:

– Ну-с, полковник, вашим большевичкам везет. Какая погода!

Полковник шепчет ему по имени-отчеству, показывая на меня глазами:

– Тут молодой человек… Нехорошо как-то при нем…

А мне наплевать! Я не скрываю своих воззрений.

Карбасникову в училище нравилось, что я хорошо учился. Я и сейчас, например, помню «Теорию вероятности» Гельвиха.

«…Гельвих… Редкая фамилия, – заскреблось в голове, – где-то мне она встречалась». Стал перелистывать свои книги. Одна,… другая… Вот «Повесть о пережитом» Бориса Дьякова. Читаю:

Зима 1953 года. Лагерь под Тайшетом. Бывший генерал-майор артиллерии П.А.Гельвих. Восемьдесят лет. Осужден за «вредительство». Ночью не может спать: «Формулы замучили, а записывать некуда и нечем». Хранит старый номер «Известий» от 14 марта 1941 года с первым постановлением о присуждении Сталинских премий. Петр Августович Гельвих – удостаивается премии первой степени за работу тридцать четвертого года «О рассеивании, вероятности попадания и математическом ожидании числа попаданий», работу тридцать шестого «Теоретические основания выработки правил стрельбы», сорокового «Стрельба по быстродвижущимся целям». В номере – портрет Гельвиха: «цветущий старик, пышные седые усы, полукруг белых волос над открытым широким лбом, на груди орден Ленина…

Я перевел взгляд, – пишет Дьяков, – на заключенного Гельвиха: высохший человек, голый череп, редкие усики-колючки. Но в серых глазах, глубоко-глубоко, искорки живого ума…

– Неужели?

– Да, это я…Бывший я… – глухо произнес он. – Шесть лет тюрьмы, голубчик. Что вы хотите?… – Он сморщился. – Был лев, а нынче драный кот!…»

11

Тринадцатого июля мы из Луги поехали в Ленинград и уже четырнадцатого – в Москву.

Тем временем, было принято решение сформировать восемь, не то девять полков гвардейских минометов – «катюш». Мой 439-й дивизион был переформирован в 3-й гвардейский минометный полк. Его командиром назначен майор Виктор Иванович Гражданкин. В полку было три дивизиона. В каждом – 118 машин, из них 12 – боевых. Меня назначили начальником разведки в 3-й

дивизион, которым командовал старший лейтенант Шаренков. Тогда чины были небольшие. Первым дивизионом командовал капитан Коротун, вторым – капитан Острейко, потом генерал. Я его знал с 38-го года. В Киевской спецшколе он вел строевую подготовку. Он тоже помнил меня: я хорошо ездил верхом, и он по выходным брал меня на верховые прогулки. Начальники разведок дивизионов все были мои однокашники. В первом – Володя Олейниченко. Наши койки в училище стояли рядом. Погиб потом на Кавказе. Во втором – Володя Фаготов. Очень добрый и благоразумный. Если что: «Ребята, что вы делаете!» Остался жив. Одно время, генералом, был начальником факультета в Дзержинке.

Мой командир Иван Васильевич Шаренков кончил войну подполковником. Уже в сорок первом у него была «Красная Звезда». Тогда награды не шибко давали. Он был много старше меня, с 1909 года. Хороший мужик, хотя и вспыльчивый. Меня любил. Когда позднее, под Калинином, мне финн прострелил ногу, он – нет, чтобы пожалеть, схватил полено:

Какого черта ты полез! Ну, дать тебе поленом по башке!

Формирование наших частей шло в августе – начале сентября. Пока не получили боевых установок, у нас были 122-миллиметровые гаубицы на конной тяге. В дивизионе – 130 лошадей: и ездовые, и для тяги. Крутили хвосты.

С этими лошадьми случилась потешная история. Нам назавтра назначен смотр, а чуть ли не каждая третья лошадь – грязная. Такой она считается, если проведешь против шерсти, и летит перхоть. Вычистить не успеваем.

Командир батареи Подушкин говорит старшине:

– Давай два белых халата.

А старшины такой народ – луну с неба достанут. Бежит через двадцать минут с халатами. Подушкин говорит ему: «Веди сюда грязных лошадей».

Надел белый халат: раз-раз лошади по морде. И так отлупил каждую грязную.

На завтра – смотр. Ветеринар в белом халате вызывает чистую лошадь. Смотрит, щупает: «Отлично!» Вызывает грязную. Только сунулся к ней в своем белом халате – она взбесилась. А артиллерийские упряжные лошади – звери. Копыто – во! С хороший арбуз. Ветеринар с досадой отмахнулся: «Отлично! Следующая» и т. д.

Всякий раз, как мимо проводили очередную лошадь, Подушкин, довольный, поддергивал штаны и говорил мне вполголоса:

– Учись, как надо жить.

Я его потом встречал в 50-х годах, уже генерал-лейтенантом.

Когда к нам пришли первые установки, мне, как уже опытному, поручили провести демонстрационные стрельбы для офицеров полков.

Реактивный снаряд имеет два штифта, которыми он вставляется в направляющие боевой установки. Когда снаряд осаживаешь в установке, два снарядных контакта садятся на контакты направляющих. Рядом с шофером пульт. Включаешь рубильник на пульте и крутишь рукоятку маховичка, замыкающего по очереди снарядные контакты от особого щелочного аккумулятора. Прокрутил за четыре-пять секунд – и все снаряды по очереди ушли.

Я исхитрился жухнуть лишний комплект аккумуляторов, и у меня в землянке всегда был электрический свет.

На этих стрельбах я схулиганил: навел установку на скирду сена для полигонных лошадей и крутанул маховичок. Сено и сгорело. Начальником полигона был полковник Смирнов. Грузный такой, в годах. Как же он ругал, как ругал! Я делал при этом голубые глаза. Командир полка Гражданкин потом отозвал меня:

– Нехорошо хулиганить.

Я, конечно, свинья. Они там косили, косили, а я сжег в один момент. Но как красиво у меня получилось: скирду сначала разбросало, а потом она заполыхала. Офицеры смеялись несколько дней.

12

В начале сентября полк из Алабина вокруг Москвы отправился на Северо-Западный фронт. Вокруг Москвы тогда не было бетонного кольца. Проселками, по страшной грязи тащили машины на руках. В полку три дивизиона, в каждом – сто восемнадцать машин. Когда вышли на Ленинградское шоссе, в грязи были поверх ушей.

Через несколько дней полк прибыл под Себеж, почти на границе с Латвией. Фронта не было. Немцы шли на восток и обходили нас вовсю. Все перепуталось.

Командир полка собрал начальников разведки трех дивизионов:.

– Вы – мои глаза и уши. Будете отходить последними. Может быть, попадете в окружение.

Если бы не Гражданкин, полку бы не выбраться. А мне со своей разведкой пришлось помотаться. У меня было пятнадцать человек, очень хорошо по тому времени вооруженных. У всех автоматы, у каждого больше четырехсот патронов. В наборе – трассирующие, зажигательные, бронебойные.

В этой чехарде немцы нас обошли, и мы стали выходить на восток. Нет крепче дисциплины, чем в окружении. Твердо говорю как ветеран окружений.

Идем лесом. Видим, стоит машина. Открыли – в ней нижнее белье. Мы в бане давно не были, переоделись в чистое. Зажгли грузовик, пошли дальше. Попадается грузовик с хлебом. Мои ребята набили сидора. Я взял круглый хлеб подмышку, под другой рукой – автомат. Подожгли машину, двинулись… Потом полуторка с колбасой, ткнулась в ручей. Нажрались колбасы, зажгли машину, идем…

Выходим на опушку, дальше – поле, деревня, за деревней лес. На опушке лежат наши, человек пятьсот, дулами на восток. Командует ими младший политрук. Я лег рядом, спрашиваю:

– Что лежите?

– Да окружили нас.

От деревни появился человек, одетый в нашу шинель внакидку. Кричит:

– Сдавайтесь! Вас окружили! Вас здесь накормят.

Политрук поднял винтовку СВТ и срезал его метров со ста пятидесяти. По выстрелу, без команды, все кинулись через поле в лес. Немцы построчили из пулемета, но я не видел, чтобы кого убило. И я бежал, бежал по лесу, оказался один. Добежал до какой-то насыпи, на ней вагонетка. Сил нет. Упал, ткнулся в насыпь. Дышу, как пес: «Хы-хы…» Отдышался, смотрю: подмышкой – буханка, под другой – автомат, а вокруг все мои пятнадцать хлопцев.

Пошли дальше. Больше таких переполохов у нас не случалось. Правда, стало голодновато. Я не сообразил, что еду надо выдавать по норме, и мы сначала ели от пуза. Но тут на лесной дороге встретили четыре немецкие машины и подкормились. Дальше стали питаться хорошо: щипали немцев все время. Там холмистая и лесная местность. Очень хорошо тем, кто не привязан к дорогам и действует свободно.

К нам стали приставать по двое, трое, четверо. Мы обнаглели. Стали разбивать немецкие колонны машин по двадцать. Один раз сожгли 28 машин.

К нам присоединился капитан с тремя солдатами. Я ему наедине предложил как старшему по званию командовать группой. Он отказался:

– Нет, голубчик, они верят тебе, ты и командуй. А я буду твоим помощником.

Он очень умело и незаметно подсказывал мне, что делать.

Одно время с нами был генерал Горячев. Он был уже в летах. Мы ему добыли крестьянскую лошаденку, и он ехал на ней без седла на каком-то половичке. Это был очень спокойный человек. Раз мы отдыхали на поляне. Вдруг над самым ухом прогремела очередь. Потом выяснилось, что один из наших случайно нажал спуск. Все кинулись по кустам. Я даже ободрал себе щеку. Генерал остался на поляне. Смотрит на меня, спрашивает:

– Ну, чего ты там потерял?

С Горячевым мы расстались еще до выхода из окружения. Я его потом увидел под Калинином. Он там командовал 256-й дивизией. Боже мой, какая была встреча:

– Ой, ты жив?

– Жив.

Он мне обрадовался. Приказал, чтобы отказу нам не было ни в чем. Мой помощник любил выпить. Тут же сообразил:

– А насчет бутылочки можно?

Горячев потом командовал корпусом.

Обычно мы шли по лесу перекатами. У меня автомат был на плече, в руке пистолет. Я всегда досылал один патрон, так что в пистолете было девять патронов. Однажды, когда я шел сзади, вдруг почувствовал, что мне в спину глядят. Обернулся – метрах в пятнадцати немецкий офицер. Он в меня выстрелил, целясь в голову. Пуля свистнула над ухом. Никогда не целься в голову – промажешь. Я от пояса спокойно выстрелил, целясь в живот. Он резко переломился в поясе и упал. Я выстрелил еще раз… Что было с ним делать? Это оказался интендант, поэтому и стрелял в голову. Откуда он взялся в лесу?

Как– то мы залегли у шоссе. Уже стемнело. По шоссе шел сплошной поток немецких машин. Против нас остановилась колонна. Высыпало с батальон немцев. Стали отливать. Один офицер ухитрился пустить струю прямо на моего разведчика. Колонна уехала. Мы хохотали – не могли остановиться. Реакция была вроде истерики.

Под Пустошкой по лесной дороге вышли на очень богатую деревню. Дорога шла в гору, деревня стояла в лесу сказочной красоты. Захожу в дом:

– Хозяйка, дай напиться.

– Нет. Я тебе не дам. Лучше немцу дам…

Я развернулся, и из автомата по всем ее макитрам – так черепки и разлетелись.

Мы несли с собой человек пять раненых. Один – раненный

тяжело, боялись – не донесем. Ничего – остался жив. Был у меня один инженер Жуковец, интеллигентный человек, но головорез. Я ему говорю однажды:

– Жуковец, что хочешь делай: раненых надо накормить.

– Дайте мне Зимина.

Тот бесподобно воровал кур. Пошли они ночью в деревню, около которой мы остановились. Но там кур уже нет: немцы поели. Нашли поросенка. Жуковец полез с топором в хлев, ударил, в темноте промазал. Поросенок с диким визгом выбил дверь. Жуковец бегал за ним с топором по двору и рубил.

Немцы стояли на другом конце деревни, но не обратили на переполох внимания. Думали, свои промышляют. Жуковец и Зимин явились под утро с каким-то мешком, а в нем – поросенок, изрубленный от пятачка до хвостика.

Я сообразил, что немцы нас будут перехватывать, если пойдем прямо на восток. Двинулись на северо-восток. Нас хорошо обучили в училище топографии. Я по карте видел местность.

Мы до того осмелели, что шли уже днем, параллельно шоссе, метрах в восьмистах, выкинув боковое охранение. Вдоль дороги легче ориентироваться.

Когда вышли к Селигеру, у меня насчитывалось около ста пятидесяти человек. Дисциплина, должен сказать, была потрясающая.

Не правда ли, интересно прослеживать изменение тональности воспоминаний Игоря Сергеевича о себе, далеком, двадцатилетнем лейтенанте. От чуть ироничного, снисходительного описания импульсов зеленого юнца к уважительному разъяснению тактически грамотных и дерзких действий бывалого вояки – всего через какой-нибудь месяц войны.

Датировать это поразительное превращение можно первой декадой сентября 1941 года, когда Игорь Сергеевич выходил из окружения.

Сдается мне, именно на тактике выхода из окружения столь разительно разошлись дальше жизненные линии моих героев.

Игорь Косов пробивался сквозь немцев целеустремленным, набирающим силу кулаком.

Мятущаяся, неорганизованная толпа окруженцев, в которой бежал на восток Виктор Лапаев, рассыпалась мелкими брызгами, которые легко подбирались литовской сельской полицией.

Виктор понимал это. Однажды он с горечью сказал мне:

– Если бы я, с нынешним моим опытом и пониманием, оказался в той многотысячной толпе у переправы в Гегужинах – как много можно было бы сделать…

Фронт у Селигера уже стал уплотняться. Мы понаблюдали,

нашли дыру. Пошли ночью. Наткнулись на немецкий патруль. Как раз луна вышла в просвет в облаках. Они сглупили, остановились, и я увидел четыре тени. Прямо от пояса срезал их из автомата. Кинулся вперед, наступил на одного. Все бросились за мной.

Вышли прямо на свой родной полк. Командир полка Гражданкин велел нас пять дней не трогать, а меня пригласил на обед. На обеде угощал пельменями. Вели светскую беседу, не касаясь текущих дел. Выпивал, кстати, он очень умеренно.

Только сейчас я стал понимать, как много получил от Виктора Ивановича Гражданкина. Он был абсолютно один и тот же при любых обстоятельствах. Стоишь, держишь карту. Кругом – черт знает что. Бомбежка, все летит! А он достает из кармана черный футлярчик, из футлярчика белоснежный платок, снимает пенсне. Подышит: «Х-х», – протрет. Посмотрит на блик: «Х-х», – опять протрет. Нацепит пенсне: «Будьте добры…» Был отменно вежлив. Всем, даже солдатам, говорил «Вы». Скажет:

– Будьте добры, придите ко мне на ужин.

Значит, проштрафился. Настроение портится на весь вечер. И такой скрипучий голос!

Он меня очень любил. Но в 43-м, когда я к нему в бригаду явился командиром дивизиона, он встретил меня весьма холодно. При первой встрече сказал:

– Только имейте в виду, что няньчить и воспитывать Вас я не намерен.

Я ответил:

– Я сюда направлен не воспитываться, а воевать.

Он промолчал. Впрочем, быстро изменил свое мнение: мой дивизион стрелял все-таки лучше других. Он мог старшим сказать резкость и мог стерпеть, когда резко возражали ему. Однажды в разговоре со мной он сослался на «Правила стрельбы 42 года». Я ответил:

– Да это для плохих артиллеристов!

Он, подумав, согласился:

– Вы правы: «Правила стрельбы 39 года» сложней и интересней.

Ко времени этого разговора в 43-м году хорошо обученных артиллеристов осталось мало: кто погиб, кто пошел на повышение, и «Правила» пришлось упрощать.

Виктор Иванович был из старых офицеров. Умер после войны в 96 лет.

Тут, на Валдае, по реке Лужонке, было первое место на всем советско-германском фронте, где немцев остановили, и дальше они не пошли. Крайняя точка их продвижения за всю войну. Им не дали выйти на Валдайскую возвышенность и к Октябрьской железной дороге. Мы пытались и атаковать, но успеха не имели.

Дивизионы нашего полка то раздавали по разным дивизиям, то сводили вместе. Наш дивизион чаще всего придавали дивизии Фоменко.

Я был начальником разведки дивизиона, поэтому отвечал и за пристрелку. Для нее мне дали 122-миллиметровую гаубицу Шнейдера, не в штате дивизиона. У этой гаубицы баллистика похожа на баллистику «катюши». Когда я бывал в какой-нибудь дивизии, начинал канючить гаубичные 122-миллиметровые снаряды. Мне давали: в одной дивизии – машину, в другой – две. Я забирал все, благо с транспортом проблем не было: в дивизионе 118 машин.

Для пристрелки мне столько снарядов не было нужно, и я стал из гаубицы постреливать для души. При ней был очень хороший расчет. Четыре снаряда повисали на траектории: первый еще не разорвался, а четвертый уже вылетел из ствола.

Я заметил, что к немцам по утрам приезжает кухня, встает за угол конюшни, к ней собирается очередь… Заранее пристрелялся по другой конюшне. Когда на следующее утро моя кухня приехала, я шарахнул по ней, перенеся прицел по углу. Попал прямо под кухню со второго или третьего снаряда. Полетели ошметки, немцы разбежались. Кухни не стало, и больше в открытую они не ездили.

В другой раз накрыл шрапнелью купание лошадей.

Еще был случай: наблюдаю – в кустарник группками перебегают немцы. Докладываю комдивизиона Шаренкову: «Накапливаются».

– Пускай накапливаются, – отвечает.

Вижу – кончили перебегать. Я доложил.

– Стреляй.

Дали залп из «катюш». Там было человек пятьсот. Почти никто не уцелел. Одного из них взяли в плен. Он спятил: все раздевался догола, а потом опять одевался. Шутка ли – если на гектар попадает пятнадцать снарядов – там ничего живого не остается. Снаряд делает воронку метров в пять.

Артиллерийская стрельба – интересная вещь! На первом курсе в училище с нами занимался капитан Ларин. Он сказал мне:

– У тебя очень хорошая стрельба. Хорошо схватываешь.

Советую тебе заняться фехтованием на рапирах – помогает.

Я послушался. Оказалось – очень важно. При стрельбе надо быстро принимать решения, ловить момент. Меняется все: ситуация, ветер. Я потом при пристрелке поднимал бинокль только в момент разрыва снаряда. По свисту своего снаряда знал, летит он вправо или влево от цели. Знал все методы стрельбы. Например, наблюдаешь пристрелку из двух пунктов двумя стереотрубами. Выстрелил. Докладывают: первый – влево две тысячных, другой – вправо четыре. Тремя снарядами определяешь цель и следующие четыре снаряда кладешь на поражение.

Речка Лужонка, на которой стоял фронт, была перегорожена плотиной. Вода мешала наступать. Решили плотину разбить. Я подобрался к ней поближе, стал пристреливаться. Гаубица стоит далеко, я ей командую. Первый снаряд упал, не долетев до меня. Вижу, могу попасть в самого себя. Дал снаряд с заведомым перелетом, и стал подходить к плотине с той стороны, не беря ее в вилку. Со второго снаряда попал в плотину и разбил ее. Вода зашумела и ушла.

Вернулся в деревню Белый Бор доложить командиру дивизии Фоменко. Вхожу. Сидят, обедают – он, командующий артиллерией дивизии Огульков, начальник штаба Бекаревич. Фоменко спрашивает:

– Кто разбил плотину?

Отвечаю робко:

– Я.

– Ну, что тебе за это сделать?

Огульков посоветовал:

– Налей ему водки.

Наливают больше полстакана. А я тогда водку не пил. Хлопнул и вышел, качаясь. Пошел на сеновал, лег и заснул. На другой день проснулся, голова болит. Встретился Фоменко, такой маленький, круглый, спрашивает:

– Ты что же не сказал, что водку не пьешь?

– Раз приказано – пью.

Этот Белый Бор много раз переходил из рук в руки. Мы там нашли бочонок меду. Растаскали по котелкам, но остался еще целый горшок. Мы ели из него на НП мед ложками. Тут немцы нас опять выбили из деревни. Они входят по дороге, а мы уходим огородами. Горшок было брать некому – я взял. Там места сырые, грядки высокие, я и перевернулся, идучи спиной, через грядку. Весь мед на мне, даже за пазуху попало. Облип до нижней рубашки. Отошли до речушки, соорудили мне шалаш из шинелей, выстирали мое обмундирование.

Так идиотски себя чувствовал: холодно, октябрь, сижу у ручья

голый, завернутый в одеяло, хлопцы в ручье белье моют.

Здесь, на Лужонке, мы устроили себе в избе баню. Ребята помылись. Я моюсь последним: только что пришел с НП. Намылился, слышу – немец стал кидать по деревне. Разрывы все ближе и ближе. Вот черт – домыться не даст (*Игорь Сергеевич изобразил, как он энергично заерзал мочалкой*). Тут – фью-ю-ю! Слышу – прямо в меня. За печкой есть такой закут, я прыгнул в него, прямо в паутину и сажу! Гром, треск, дым! В избе дыра. Ребята влетают в избу: «Лейтенанта убило!»

А я вылезаю из запечья, голый, весь в паутине. Смеху было! Завесили дыру плащ-палаткой, домылся.

У нас был фельдшер Тимонин, трусоватый. Мы его звали Тимоня. Раз стоим – фью-ю! Видно, что не в нас. Трах! Он носом в землю. Я его – сапогом по заду. Он лежа щупает себя.

– Тимоня, ты чего?

– Товарищ лейтенант, меня, кажется, ранило.

Хлопцы так и покатились.

Вообще много случалось смешного. Был у нас в полку боец. Спал все время. Идем как-то с Борисом Карандеевым, командиром батареи. Злой мужик, но остроумный. Видим – сидит тот солдат на пеньке и спит. Мы все тогда ходили в касках: Виктор Иванович Гражданкин заставлял. Борис взял трухлявую палку и как жахнет солдату по каске. Палка – в пыль. Солдат упал с пенька и пополз. Я чуть не помер со смеху.

Борька мне потом говорит:

Ты знаешь, перестал спать. Не спит…

Как– то я и со мной человек десять вечером возвращались с НП к себе. Шли по сухую сторону длинного, заросшего кустами, вала. Потом, уже учась на истфаке, я понял, что это было древнее городище. По другую сторону – заросший кустарником ручей. Я услышал оттуда всплеск. Понял, что кто-то оскользнулся в ручье на камне.

Мы залегли на гребне вала, напротив прогала в кустах, которые росли вдоль ручья. В этот просвет вышли два немца. Я шепотом приказал:

– Пропустить.

За ними появилось основное ядро группы, человек двенадцать. Мы подпустили их метров на пятьдесят и в упор срезали их из десяти автоматов. Это была немецкая разведка, которая параллельно с нами шла в наш тыл.

У офицера на груди висел прекрасный цейсовский бинокль. С тех пор он у меня. Вот и сейчас лежит в шкафу.

Штаб Северо-Западного фронта был на валдайской сталинско-ждановской даче. Ее построил знаменитый чаеторговец

Перлов. Он был с фокусами. На даче – громадный зал. Стены и потолок – зеркальные, посредине – унитаз. Павел Алексеевич Курочкин, командующий фронтом, прибыл туда первый раз. Спрашивает:

– Где здесь туалет?

Открыл дверь – в испуге захлопнул. Потом, деваться некуда, стал пользоваться.

Курочкин был очень деликатный человек. Он отдал как-то приказ по фронту: замазывать краской на контрольно-пропускных пунктах фары у машин, если они не замаскированы. Едет сам, с незамаскированными фарами. Его на КПП останавливает сержант, хохол:

– У Вас незамаскированные фары. Приказ командующего фронтом – замазывать.

П. А. Курочкин достает удостоверение:

– Вот я сам командующий.

– Ничего не знаю. Есть приказ командующего фронтом…

Курочкин его минут двадцать уговаривал, плюнул:

– Мажь!

Здесь, на Валдае, я в первый раз встретился с Павлом Николаевичем Кулешовым, потом маршалом артиллерии. Это было у станции Любница, куда отвели наш полк почти сразу после того, как я вышел из окружения. Грязь страшная, мы ведем очень милый разговор, у Павла Николаевича приятный баритон… С тех пор мы с ним все как-то пересекались – и под Калинином, и на Волховском фронте. Здесь же, на Валдае, я впервые увидел и Павла Алексеевича Ротмистрова, тоже будущего маршала – бронетанковых войск.

Кто знал, что через пару недель их всех притиснет друг к другу страшным напором немецкого наступления осени 41-го года.

Меня же спустя добрых сорок лет после этой осени поразило удивительное переплетение военной биографии Игоря Сергеевича с моей собственной судьбой и, не побоюсь сказать, с историей моего рода.

14

В самом начале нашего знакомства мы с Игорем Сергеевичем прогуливали как-то своих мелких четвероногих собратьев. В его неспешном рассказе проплыла фраза:

– Когда тринадцатого октября 41-го мы проходили Медное,

уже светало…

Я насторожился:

– Это какое Медное?

– На Тверце, верстах в сорока за Калинином.

Я ахнул:

– Так это же мои родовые места!

Потом в рассказе появились Каликино, Марьино, Колесные Горки, Ямок, Лихославль… Малый пятачок тверской земли, где он воевал осенью 41-го года.

Эти названия вызывали у меня острое чувство сопричастности к событиям, о которых он говорил.

Лихославльская округа не менее трех веков – земля моих предков. В свою деревню на лето я еду по Ленинградскому шоссе сквозь Тверь, Каликино, Медное. Сворачиваю на проселок сразу за Ямком.

На лето 41-го года, день в день 22 шюня, я со своей бабушкой, Акулиной Ивановной Ивановой поехал в ее карельскую деревню Васиху под Лихославлем.

Откуда взялись карелы в самом центре коренной нечерноземной России – существуют два суждения. По одному – это остатки автохтонных угро-финских племен, не успевших до конца раствориться в том сплаве, который Ключевский называл великорусским народом. По другому мнению, тверские карелы – родом из Олонецкого края. Когда эти земли после Смуты отошли по Столбовскому миру 1617-го года к шведам, те стали насильно переводить православных по отчей вере карелов в протестантство. От сих идеологических притеснений карелы, числом несколько десятков тысяч, попросились под руку единоверного царя Алексея Михайловича.

Родители мои были из той же Васихи. До школы они по-русски не говорили.

О начале войны мы с бабушкой узнали в деревне. Нам чудом удалось выбраться оттуда домой, к моим родителям, в подмосковный городок Высоковск.

Если бы мы с бабушкой застряли тогда в лихославльской деревне – мог бы встретить там в октябре Игоря Сергеевича, чтобы через много лет познакомиться с ним в Москве.

Ничего невозможного в этом нет: ведь узнал же спустя полвека мой друг Николай Алексеевич Парусников в известном ученом Якове Залмановиче Цыпкине молоденького лейтенанта, который в декабре 41-го переночевал у Парусниковых в избе под Теряевой Слободой, только что освобожденной от немцев.

Лет тридцать назад мы с Николаем Алексеевичем обзавелись домами в Любохове – деревне из той же медновской округи. Ах,

какие это чудесные места! Вы не видели ничего, если там не бывали. Любохово даже тучи обходят стороной, что издавна известно в Новоторжском уезде. Обошли Любохово и немцы в октябре 41-го, хотя были и к западу от него, и с востока.

Впрочем, что я говорю… Если бы Игорь Сергеевич в засаде у медновского моста не растрепал роту немецкой пехоты, которая катила вслед за танками, прошедшими по Ленинградскому шоссе на Марьино, то Любохово беда не обошла бы.

Война не дотянулась впрямую до моей деревни, но жестоко проскребла по ней своею лапой. Из Любохова ушли на войну шестьдесят два мужика, вернулись – двое. Один из них – близкий мне человек Иван Алексеевич Шоманский, любоховский пастух.

Необычную для тверского края фамилию принял его отец в память о нам уже неведомом поляке, который спас его в германском плену первой мировой войны.

Ивана Алексеевича во вторую мировую ждала та же участь. В июне сорок первого он в Прибалтике прямо из эшелона попал в плен – до конца войны.

На Любоховском, в сторону Тверцы, поле почти шестьдесят лет не запахивается куртинка иван-чая с несколькими уже немолодыми березами. Осенью 41 года в Любохове стоял фронтовой госпиталь, и тех, кто умирал в нем, хоронили на этом месте в братской могиле.

Хирург того же госпиталя принимал роды у Александры Арсеньевны, жены Ивана Алексеевича, которая на последних сносях добрела из горящего Калинина в родную деревню. Рождение Гали проходило под гром немецкой бомбежки, и мать закрывала своим телом новорожденную. Хирург цыкнул на нее: «Перестань! Тебя убьют – что я с твоей сиротой буду делать!»

Фантомы войны окружают нас.

Слово «Медное», сказанное Игорем Сергеевичем, выдернуло ниточку, которой к этим местам привязан в моей памяти и Виктор Лапаев.

Довольно таки давно, когда я и думать не думал о параллельных биографиях, в Калинине близкая родня отмечала Викторов день рождения – десятое июня. В третьем часу ночи наши жены удалились, почти на аглицкий манер, оставив мужчин за столом. Проснувшись поутру, женщины не нашли мужей в доме. Не обеспокоилась только Аза, Викторова жена, привыкшая ничему не удивляться:

– Да ничего с ними не случилось. Небось, мой черт уволок их на рыбалку.

Так и было. Уже светало, когда мужские застольные разговоры перешли на среду ращения навозных червей. Я был – за

спитой чай, пополам со мхом-сфагнумом, Виктор – за чернозем огородный обыкновенный. Позиции, понятно, – непримиримые. Виктор схватил меня и моего тестя, Николая Сергеевича, согласного с обеими сторонами, и повлек в подвал – убедиться собственными глазами. Яростно разгребал почву в ящике своей покалеченной пястью, тыкал мне в нос клубки, сейчас признаюсь, великолепных экземпляров.

– Не веришь?! Едем – проверим!

Через час нас уже несло на тестевом «москвиче» далеко от Калинина. Мутило от трясучей дороги и последствий водки кашинского розлива.

– Я вам покажу такие места, – хватал меня за плечо Виктор, – вам и не снились!

Дорога плавным разворотом вынесла нас из соснового бора на пойму Тверцы, блистающую росой и цветами некошеного травостоя. Вдаль уходили многоплановые перспективы сверкающей реки. Мы ахнули.

Нужно ли говорить, что по стечению необоримых обстоятельств клева в то утро не было.

На обратном пути меня остановил инспектор ГАИ.

– Кашинская? – потянул он многоопытным носом.

– Вчера, – просипел я.

– Тогда – езжай, – старшим братом отпустил он меня.

Вот уже тридцать лет почти каждый летний день иду я от своего Любохова полтора километра до Тверцы. По плавному повороту той самой дороги выхожу сквозь колонны соснового бора на речной простор. Так взыскующий чуда католик выходит из-под сводов собора святого Петра. И в моей душе смутно встают знакомые лица и звучат далекие голоса.

Стояние Игоря Сергеевича на реке Лужонке было недолгим.

В начале октября 41-го года под страшным немецким ударом рухнул весь центр советско-германского фронта. Были разгромлены и оказались в окружении войска трех наших фронтов: Центрального, Западного и Резервного. Чтобы прикрыть калининское направление этой зияющей бреши, из части войск Северо-Западного фронта была создана оперативная группа под командованием Н. Ф. Ватутина. В группу вошел и дивизион Игоря Сергеевича. Эти войска спешно перебрасывались под Калинин.

Маршал Жуков в своих воспоминаниях назвал осень 41-го года самым тяжелым отрезком войны.

И я помню эту осень.

Еще только что, в июле, я читал газеты старикам-карелам в бабушкиной Васихе и с глупой, детской самоуверенностью уверял их в скорой победе.

Еще в сентябре я обрадовался, что из-за войны отменились занятия в музыкальной школе.

Но уже в начале октября мой родной Высоковск придавили тоска и безнадежность. Я помню серые, как тени дантова чистилища, вереницы отступающих солдат, которые потянулись через город. Помню поземку по промерзлой земле, багровый тусклый отсвет на краю ночного неба, шепот: «Калинин горит».

Оставаться под немцев – не было мысли: отец – коммунист, мать – учительница.

Анна Александровна Хренова, Василий Алексеевич Новожилов – мне захотелось произнести их так давно не звучавшие имена.

Отец работал главным механиком торфопредприятия, был на брони и неделями не появлялся дома. Мать не знала, что делать. Мы вязали узлы, жгли «советские» книги. Старшая сестра Римма у которой болели зубы, полоскала рот шалфеем и выплевывала на кровать: все равно – немцам.

Пятнадцатого октября мать решилась. Мы взяли узлы, пошли от немцев пешком: бабушка, мать, полугодовалая младшая сестрица Людмила у нее на руках, старшая сестра – тринадцати и я – девяти лет. Дошли до соседнего корпуса. Узлы развязались – и мы вернулись в только что брошенный дом.

Утром шестнадцатого все производство в районе встало. Отец получил повестку, появился дома, успел воткнуть нас в подвернувшийся эшелон беженцев и направился в военкомат.

В ноябре он не без трагикомических приключений оказался на формировании в Ярославле.

Команду ярославского флотского экипажа, куда отца отрядили, повели в баню. Мыльня, полная народу. С трудом нашел шайку, место на лавке. Только намылил голову, слышит крик:

– Вася!!! – и его хватает кто-то в охапку.

Отец смахнул с глаз пену:

Коля!

Они обнялись, сели, заплакали…

Баня замерла. Потом все мужики сели на лавки и заплакали вместе с ними.

Для меня в этой малой истории – вся смертная тоска страны той страшной осени.

15

Мужчина, столь неожиданно встреченный отцом в

ярославской бане, был Николай Михайлович Горбин, отцов друг по жизни, еще с деревни.

Он был кадровый военный. Встретил войну на границе капитаном, начальником штаба погранотряда в Прибалтике. Пробивался сквозь окружения на восток боевым соединением. Вышли к своим под Великими Луками «в зеленых фуражках и при оружии». Напомню, что зеленые фуражки с прошлого века носят российские пограничники. Немцы к ним относились с особой ожесточенностью.

Он и Иван Михайлович Матвеев, тоже отцов друг детства, тоже кадровый военный, встретивший 22 июня на границе, приезжали перед войной к родителям в Высоковск. Молодые, высокие, сильные, с уверенными громкими голосами, туго затянутые в портупеи. Как те два кавалергарда пред Горьким и Львом Толстым.

Николай Михайлович приезжал к отцу в Высоковск и после войны. Вылез, как он рассказывал, из автобуса со своей женой, Клавдией Кирилловной, – ничего не узнает. Вместо огородов, сарайчиков, рыночных коновязей – стоят пятиэтажки. Спрашивает у пожилого мужчины, где найти Новожилова.

– Да на кладбище. Только что пронесли…

Супруги как стояли – так и сели, благо на остановке была скамеечка. Придя немного в себя, решили не возвращаться сразу в Москву, а пойти проститься с Васей. На кладбище увидели толпу, пробрались сквозь нее – видят: на бугорочке стоит – живей не бывает – их друг и так прочувствованно говорит, что плачут все собравшиеся.

Горбины заплакали вместе со всеми. Оказалось, хоронили отцова однофамильца.

Отец стал под конец жизни, как он говорил, «вроде гражданского попа». Он в нашем Высоковске всех знал, и все его знали. Он умел словом потрясать сердца, и его звали сказать прощальное слово.

Поскольку старики в городе помирали часто, а водки и здоровья у нас на поминках не жалеют, то я часто нудил отца за пагубность такого образа жизни.

– Игорь, так это ж за счет мирян, – отвечал он безмятежно, – и продолжал жить по-своему.

Он умер, как жил, на встрече выпускников своего Калязинского машиностроительного техникума. Это случилось в конце октября 79-го года, когда, как и в 41-м году, на Подмосковье пали ранние свирепые морозы.

Я с Музой, моей женой, поехал за отцом в Калязин. Тамошнее начальство, смущенное печальным финалом общерайонного

мероприятия, сильно помогло нам в хлопотах с гробом и всякими формальностями. С этими делами мы два дня мотались по городу в казенном газике вместе со славным парнем Александром Федоровичем Алферовым, комсомольским районным секретарем, и с местным краеведом, Николаем Николаевичем Родимовым.

От любого места Калязина нам была видна знаменитая колокольня, которая грозящим перстом торчала из середины Волги, растекшейся над старым Калязином перед Угличской плотиной.

Оба этих дня непрерывным говорком журчал у меня за спиной рассказ Николая Николаевича о сем славном граде, о его великих гражданах, высоких родах и громких свершениях. Интеллигентная речь высокообразованного, умного гуманитария. Оборачиваясь назад, я видел высохшего старика лет восьмидесяти в солдатской шапчонке искусственного меха и проношенном осеннем пальтеце, из обтерханных обшлагов которого торчали красные, зазябшие клешни.

Отец был с ним давно знаком и много мне о нем рассказывал.

Н. Н. Родимов работал мастером-инструктором слесарного дела в техникуме, когда там в двадцатые годы учился отец. На отцовых фотографиях тех времен я нашел Николая Николаевича среди студентов и преподавателей Калязинского техникума. Сухой, могучий костяк, свободно развернутые плечи – раза в полтора шире, чем у прочих, резко вырубленные черты лица, небрежно отвернувшегося от объектива – неброская, мужская красота. Куда там Сталлоне и Шварценеггерам…

В 41– м он пошел добровольцем на фронт. Кончил войну в Берлине. Расписался на рейхстаге. После войны, как и обоих моих героев, его повлекло в историю. Не имея никакого образования, кроме церковно-приходского училища, стал большим знатоком Калязина и его округи. Вел обширную переписку с музеями и историками-профессионалами. Отец сокрушался: «Половина пенсии уходит у него на марки и конверты».

Н.Н. Родимов. 1971 год.

Желая хоть как-то отблагодарить наших помощников по похоронным хлопотам, мы с Музой пригласили их помянуть отца в калязинский районный ресторан. Николай Николаевич смутился: «Я в ресторане не был ни разу».

После смерти отца Николай Михайлович Горбин сказал мне: «Бери теперь, Игорь, отцовых друзей на себя». Он много, с громогласным напором рассказывал мне о войне. Жалею, что не записывал его яркие и образные повествования.

Николай Михайлович написал воспоминания, назвав их «Прожитые годы». Ясный, сухой слог профессионального военного, почти не оставляющий места для личных переживаний и эмоций. Пожалуй, единственный раз они неожиданно прорываются при описании бомбежки Невеля в июле 41-го года. Город громили несколько десятков «юнкерсов». Николай Михайлович лежал в огороде между грядами. «Все вокруг дрожало. И только пчелы безмятежно порхали среди цветущих огурцов».

Николай Михайлович прошел всю войну от звонка до звонка.

Не умея плавать, переплывал на доске Дон летом 42-го во время нашего южного отступления. Потом были Сталинград, Курская дуга, Днепр, Бобруйск, Наревский плацдарм, Штральзунд. Ранен, контужен, засыпан и откопан. В конце войны – полковник, начальник оперативного отдела штаба 65-й Батовской армии, а потом начальник штаба 105-го стрелкового корпуса этой армии. Прославленный командарм П. И. Батов не раз пишет о нем в своих воспоминаниях. Я разглядываю сейчас его парадную, при всем иконостасе, фотографию: орден Ленина, Суворова и Кутузова, две «Красных Звезды», три «Красного Знамени», россыпь медалей и крестов, которые я не могу распознать. В запас Николай Михайлович вышел генерал-майором, единственным, кстати сказать, генералом на всю нашу карельскую, лихославльскую округу.

Тесен мир, даже на войне. Игорь Сергеевич, взаимодействуя с 65-й армией, встречался с полковником Горбиным. Отзывался о нем как об очень дельном и храбром офицере.

Вернемся в октябрь 41-го.

Один день этого апокалиптического месяца описан самим Игорем Сергеевичем Косовым. Можно понять, почему из всех 1417 дней войны он выбрал именно этот день.

Четыре листка, исписанных его крупным, округлым почерком, лежат передо мной. Привожу их, не меняя ни запятой.

16

Весь сентябрь и начало октября наш 3-й гвардейский минометный полк действовал в составе 11-й армии, поддерживая активные наступательные действия ее дивизий.

Три дивизиона полка были распределены по дивизиям.

3– й дивизион, в котором я был начальником разведки, действовал в полосе 85-й стрелковой дивизии генерал-майора Фоменко в районе Лычково.

Ежедневное наступление без всякого успеха изматывало людей.

Я находился с разведчиками на передовом наблюдательном пункте в деревне Белый Бор. Здесь я впервые увидел командира 8-й танковой бригады полковника П.А. Ротмистрова.

Он прибыл на командный пункт генерала Фоменко, находившийся на другом конце деревни.

8– я танковая бригада поддерживала одно из многочисленных наступлений дивизии. Однако танки успеха не имели и не могли иметь: река Лужонка с заболоченными берегами не давала возможности им развернуться.

Комбриг сразу же обратил на себя внимание. Высокий и худощавый, в синем комбинезоне и танковом шлеме, спокойный, своей приятной манерой говорить он сразу же расположил к себе меня – двадцатилетнего лейтенанта.

К вечеру 12 октября командир дивизиона старший лейтенант И.В. Шаренков приказал мне сняться с наблюдательного пункта и прибыть в район огневых позиций. Приезжаю, застаю предмаршевую суматоху. И.В. Шаренков не говорит мне о конечной цели марша.

Я хожу за ним, иду к начальнику штаба дивизиона старшему лейтенанту Маямсину, но ничего не узнаю. Говорят, что у Яжелбиц получим окончательную задачу. Колонна двигается. Медленно ползем в кромешной тьме и невылазной грязи. Так продолжается очень долго.

Наконец, у деревни Сосницы выбираемся на узкое булыжное шоссе, ведущее к Яжелбицам. Меня отправляют вперед. Я должен встретиться с офицерами штаба полка. Дивизион подходит к месту встречи. Здесь были уточнены задачи.

Итак, цель – Калинин, к которому со стороны Ржева устремились гитлеровцы. Кто придет раньше?

Впереди будет идти группа в составе 8-й танковой бригады, 46-го мотоциклетного полка, полка погранвойск и нашего 3-го дивизиона 3-го гвардейского минометного полка.

С рассветом в Яжелбицах выходим на Ленинградское шоссе. Разведка дивизиона идет в передовом разъезде. Шофер Ионов ловко обходит бесконечную колонну мотоциклов с колясками. Движемся с большой скоростью и быстро нагоняем колонны танковой бригады. Т-34 идут быстро, покачиваясь и гремя гусеницами, однотонно ревут КВ, изредка попадаются маленькие

танкетки. К счастью, низкие плотные облака укрывают нас от воздушных глаз противника. Движемся, движемся.

К исходу дня подходим к Вышнему Волочку и сосредоточиваемся в роще. Там росли неохватные сосны метров сорока высотою.

На этом собственноручные записи Игоря Сергеевича заканчиваются. Дальше опять идет застенографированный материал.

17

Командир дивизиона послал меня в Вышний Волочек: «Езжай в клуб. Найди Кулешова. Он даст нам задание». В клубе размещался временный центр управления калининской группой войск. Там я опять встретил Ротмистрова.

Весь день тринадцатого был хмурый. Под вечер разъяснилось. В ночь на четырнадцатое мы пошли на Калинин. Вместе с нашим дивизионом шла бригада Ротмистрова. Мы пытались опередить немцев.

Меня и командира взвода управления Трещелева, моего однокашника по училищу, послали вперед. Боимся впороться в немцев. Мы договорились, что он идет сзади меня метров на сто пятьдесят. Если я подзалечу – он останется цел. Едем без фар, сильно не погонишь. Ночь. Крупными хлопьями пошел снег. Навстречу бредут беженцы. Спрашиваем, где немцы, – никто не знает. Прошли горящий Торжок. Осатанелые солдаты на КПП бьют прикладами незамаскированные фары. Мироненжье, Марьино, Колесные Горки…

У Медного стало рассветать. Утром мы с Трещелевым остановились в Каликине, под самым Калинином. За нами прибыли Кулешов, Ротмистров с бригадой, наш дивизион.

На трех броневиках поехали к городу на разведку. Доехали до горбатого моста. Вылезли три идиота, достали карты. Немцы по нам и ударили. Не помню, как оказались в броневиках и рванули назад. Немцы из тридцатисемимиллиметровой пушки – шарах в мой броневик и выбили задний мост. Машина так и села. Водителя ранило в мякоть руки, он выскочил в нижний люк. Немцы полезли из кюветов. Я развернул башню – она очень легко поворачивается – и длинной очередью ударил по ним. Они попрыгали в кюветы. Тут в броневик попал второй снаряд, он загорелся. Я выбил головой верхний люк и выпрыгнул на руки в

канаву. Немцы меня прозевали. Как не зацепился… Всякие ремни, карманы, автомат… За нами высыпали немцы, со взвод. Я из автомата дал по ним длинную очередь над шоссе, метров с семидесяти. По-моему, двое упали, остальные залегли. Кричу водителю: «Беги!». Какой толк от него с наганом. Он – в кусты. Бежал-таки быстро, несмотря на ранение. Я выпустил по немцам несколько очередей и побежал за ним.

За поворотом стоят наши два броневика. Командир роты имел глупость спросить: «Где машина?». Над лесом уже дым поднялся. «Вон твоя машина!» Мы сели на броню и поехали назад. Тут я почувствовал, что сжег ноги. У меня сгорели штаны на ляжках. С тех пор здесь волосы не растут. (*Игорь Сергеевич похлопал по ногам.*)

Немцы вышли на северную окраину Калинина к вечеру тринадцатого октября. Мы опоздали на день – подошли утром четырнадцатого. Если бы мы пришли на день раньше и зацепились, то, может быть, немцы и не взяли бы город.

К частям, пришедшим от Вышнего Волочка, здесь присоединились остатки какого-то пехотного полка. Этими силами мы попытались с ходу взять город. Часов шесть шел бой. Начался он хорошо. Ворвались в город через рощу, где раньше были гулянья. Здесь какая-то белая лошадь чуть не оказалась у меня на капоте. Наши две батареи удачно ударили по роще – там были немцы, КВ пошли вперед… Но очень скоро кончились боеприпасы, и нас вышибли из города.

Ротмистров и другое начальство стояли в Каликине. Меня послали к городу посмотреть, как там пехотинцы. Я шел по лесу. Нарвался на сбитого немецкого летчика. Худенький блондинчик, в какой-то курточке, без шлема. Он заблудился и бродил по лесу. Стал с перепугу в меня стрелять – я даже свиста пуль не слышал. Я прострелил ему мякоть под мышкой. Привел его в Каликино. Он заледенел ужасно: в этот день как раз пошел снег. Отдали ему пояс. Он удивился: «Разве пленному можно?» Дали какое-то одеялишко и отправили в тыл. Напоследок он мне из машины улыбнулся и помахал рукой. По-моему, он был счастлив, что его нашли в лесу. Страшно смешно…

Немцы в Каликине бросили сорокасемимиллиметровую французскую пушку. Я ж артиллерист, да к тому же мальчишка. Любопытно. Все повертел. «Дай, – думаю, – стрельну в ту сторону». Только нацелился – а от Калинина выскакивает к нам немецкий штабной автобус. А вот и цель! Живо прицелился и выстрелил. (*Игорь Сергеевич изобразил, как жмет на гашетку.*)

Снаряд попал в верхушку радиатора. Шофер был убит. Выскочил офицер – под машину и стал отстреливаться. Да так

бьет метко. Чуть высунешься – чирк над головой.

Я говорю: «Ребята, отвлекайте». Сам по канаве подобрался сзади и под машиной насел на него. Он оказался очень силен, зараза. Ударил меня об днище машины, и мы выкатились из под нее. Никак не могу его взять. А я в артучилище занимался джиу-джитсу. Взял его на прием: зацепил одной ногой за пятки, а другой подсек под коленки. Он упал, я – на него, и мы опять покатились. Ребята подбежали, стоят вокруг – зло берет. Потом они все разом навалились, чуть меня не придушили.

Офицер оказался обер-лейтенантом. Два креста, один за Крит. В автобусе полно всяких документов. Набрали целый рюкзак. А мое начальство их не берет: «Раз ты взял – ты и отвезешь. Езжай в Вышний Волочек».

Приехал туда, во временный пункт управления. Меня принял полковник Рухле. Борода – во! В полгруди. Я ему высыпал все бумаги из рюкзака на стол. «Ты что ж это делаешь?!» – «Вам нужны бумаги, а мне нужен сидор». Он рассмеялся. Сказал: «Спасибо, голубчик».

Я эти дни был с начальством. Нашей группой сначала командовал Ватутин. Были еще Кулешов, Ротмистров. Охраны у них не было никакой – одни адъютанты. У Кулешова адъютантом был мой однокашник Игорь Ковшин. Красивый парень. Погиб. Командир дивизиона сказал мне: «Береги начальство. Чтобы с ними ничего не случилось!» А у меня пятнадцать разведчиков. По тому времени мы были очень хорошо вооружены. У всех автоматы. Зеленая полуторка, крытая брезентом. Под кузовом – два дополнительных бака на 1200 километров ходу. Сами сделали.

Как вошли в Каликино, нечего было есть. Там птицесовхоз. Уток полон двор, видимо-невидимо, белое море. Один сторож. Говорит: «Ребята, ешьте. Все равно немцы сожрут».

Захожу на кухню. Там перьев! Невероятно! Ребята уток дерут. Добыли чугун – не охватить. Наварили, объелись. Сидим на кухне, в доме, где стоял Ротмистров. Мы все время были при нем. Я даже дом в Каликине помню: слева, если от Ленинграда.

Появляется Ватутин. Попросил у Ротмистрова поесть. Тот: «У тебя есть что, адъютант?» – «Да, баночка консервов». Ватутин поворачивается к нам: «Есть хочу».

Я спрашиваю: «Ребята, осталось еще?» Хлопцы отвечают: «Да пускай едят». Ватутин театрально засучил рукав шинели и, пробив толстый слой жира, достал рукой из котла утку. Потом всех от этой жирной пищи ужасно несло.

Ватутин мне очень нравился. С ним было как-то легко. С юмором, необыкновенно спокойный – это тогда-то!

Ротмистров тоже был абсолютно невозмутим. Единственно – очень плохо видел. Под Каликином нас обстреляли самолеты. Пришлось попадать в кюветы с водой. У Ротмистрова очки зацепились за сучок и слетели. Встает: «Ребята, я ничего не вижу. Вместо вас – какие-то серые кульки». Мы засучили рукава, стали шарить в кювете. Нашли.

Два дня мы вели какие-то непонятные бои с севера от Калинина. Была какая-то свалка. В Дорошихе, слева от Каликина, наша третья батарея шестнадцатого октября попала в переплет. Она пошла стрелять проселком, вдоль длинного какого-то забора. Но стрелять ей не дали. Подошли легкие немецкие танки, вшивенькие Т-1. Три установки развернулись и ушли назад. Четвертая, пока разворачивалась, заглохла. Танк встал в воротах, выстрелил, пробил броневой щит над кабиной. Снаряды на установке не сдетонировали. Мои ребята и я были у забора. Немцы хотели взять установку. Немец крикнул: «Рус, сдавайся!» Командир взвода Камушкин скомандовал: «Волков! Подрывай!» Волков – наш сапер, а сапер был при каждой машине на случай подрыва. Пятьдесят килограммов тола клали сверху на заряды, пятьдесят лежали внутри. Волков и Камушкин подожгли шнур и побежали к забору. Немцы растерялись. У них были одни танкисты. Камушкин подбежал к забору и стал всех подсаживать через него. Очень он был силен и спортивен. Прыгнул сам, перекинул левую ногу, потом правую – и в этот момент в ногу попала пуля. Он свалился к нам на руки.

И тут жахнуло! Сто килограммов тротила и заряды двенадцати снарядов. Мне показалось – упало небо. Нас никто не преследовал. До шоссе – метров двести, А тут уже нас ждала машина. Мы поехали в Медное, где стоял наш дивизион.

От установки, конечно, ничего не осталось. Но все равно потом Борис Караичев поехал туда на КВ и покрутился, чтобы замять остатки. С «катюшами» сначала была сугубая секретность. Нам придавали охрану. На Северо-Западном фронте дивизион охранялся батальоном, потом стала рота, потом – взвод, а под конец – не оставили никого. В первый раз немцы захватили установки под Сталинградом, в 66-м полку. Командиру этого полка Шапиро здорово попало. В 41-м году он был начштаба полка у Гражданкина.

В тот же день под вечер командир дивизиона послал меня в Каликино – к Ротмистрову за указаниями. Там я попал на военный совет. Его вел Ватутин. Обсуждалось, что будут делать немцы. Ватутин обратился ко мне: «Ты здесь самый младший, будешь говорить первым». Я стал отнекиваться. Он нажал: «Говори хоть глупость».

Я сказал, что на месте немцев я бы прошел один мост через Тверцу в Медном и остановился в Марьине, чтобы не проходить второй мост через Логовеж и не увеличивать риск вдвое. Ротмистрову мой прогноз не понравился: «Да ну, чепуху он городит». Ватутин возразил ему: «Мы с тобой живем старыми понятиями. Навоевали их в другое время. А он воюет первый раз и приобретает новый опыт. И он, быть может, прав».

Так на другой день и случилось. Я стал понимать войну. Немцы тогда ходили только по шоссе. Явно нас покупали, брали на арапа.

А пока что Ротмистров мне сказал: «Уводите дивизион за Тверцу». Дивизион отошел за Тверцу через медновский мост и встал километра через три – в леске около шоссе поблизости от Ямка. Рядом с нами, около Ямка, стоял гаубичный полк. Он был приписан к 133-й Сибирской дивизии, которая шла с севера к Калинину. Опередив свою дивизию, полк пришел к нам к вечеру тринадцатого октября. Когда мы отходили от Медного к Ямку, командир этого полка майор Прудников ушел влево в лес. Встал лагерем, выставил дозоры. Спокойно пережидал, пока не подошла его дивизия. Потом полк вышел из леса в полном порядке. Все побритые, в чистых подворотничках. Прудников был прекрасный офицер. Понимал развитие событий и что надо делать.

Прудников чуть позже погиб. Под Шаблиным, почти при мне. Он сидел в избе, и мина разорвалась на подоконнике. Тут же вхожу я…

Семнадцатого утром я был в Медном. Летают бумажки – и никого. Бригада Ротмистрова без боеприпасов. Их тылы за Марьиным, километрах в пятнадцати к Ленинграду. Откуда-то появился здоровенный боров. Ротмистров кричит мне: «Хорошая свинья! Ничья! Стреляй!» Протягивает мне свой маузер. Я выстрелил в борова. Стали затаскивать его в кузов. Слышим – грохот. Из-за поворота, от Калинина, появился немецкий танк. Мы рванули с места, не успев втащить борова. Ребята держат его за ноги, он болтается за машиной.

Мы удрали за поворот, вскочили на мост через Тверцу и умчались. Танк за нами не пошел. Может быть, это был дозорный основной танковой группы.

Этот боров меня спас. Мы отвезли его в рощу за Ямком, где

стоял дивизион. Свалили на землю, хотели опалить и разделать. Тут налетели штук тридцать «юнкерсов». Стали бомбить. Я лежал рядом с кабаном. Бомба упала по другую сторону от него метрах в пяти-шести. Все осколки пришлись в борова, порвало ему всю спину. Потом я перебегал под бомбежкой, не успел залечь. Когда рядом разорвалась бомба килограммов на пятьдесят, я стоял на коленях. Увидел – поднялась стена. Все красное-красное, и я куда-то лечу.

Сильно контузило. Вся левая сторона: шея, щека, рука, левый бок – был сплошной кровоподтек вишневого цвета. Левая рука не слушалась, как потом после инсульта. Стрелял из автомата без нее. На мне была хорошая венгерка. Пять или шесть осколков прорвали на ней по касательной всю спину, но подкладка уцелела. Я ее посмотрел и выкинул. Два осколка пробили фуражку.

Немцев явно кто-то наводил: уж больно точно бомбили. В дивизионе ранило пять человек и сгорела одна зенитная установка.

В дивизионе был взвод малой зенитной артиллерии. Пятнадцатого он сбил «юнкерса». По этому поводу смеялись: попали, когда тот сам сел на ствол. «Юнкерс» был метрах в ста от установки и упал, как топор. Комвзвода Руденко, его звали «русский офицер», и его зам Хабибулин устроили по этому поводу страшный выпивон.

После бомбежки немцы двинули танки. Вообще у них хорошо было отлажено взаимодействие. У нас за всю войну так и не наладилось. Особенно трудно стыковаться с авиацией. Вроде, и рации были неплохие. Часто слышишь, как переговариваются истребители или штурмовики, а связаться с ними не получалось.

Мимо нас по шоссе прошли на Марьино три группы танков по восемь штук. Я сидел совсем рядом от шоссе, за кустом. В люке переднего танка стоял офицер в черной кожаной куртке, черном берете, в белоснежной сорочке. Похоже было, что он сам себе очень нравился.

Мы тут сваляли дурака. Если бы поставили здесь артиллерийский дивизион, то танки эти мы бы расчихвостили.

Разметав сводный отряд, слепленный из бригады Ротмистрова, дивизиона Игоря Косова и разрозненных пехотных частей, немецкая танковая колонна прошла через Ямок на север.

А слева от Ленинградского шоссе, в каком-нибудь километре от Ямка, вот уже год лежали в братских могилах тысячи польских офицеров.

Уходивших с боями от немцев на восток в тридцать девятом. Сложивших оружие перед Красной Армией. Расстрелянных здесь

НКВД в сороковом. Как в Катыни…

О чем шептались бесплотные тени польских майоров, капитанов, хорунжих, прислушиваясь ко вновь наползающему на них лязганью гусениц немецких танков? О чьем поражении молились их неупокоенные души?

После того как немецкие танки прошли мимо нас на Марьино, командир дивизиона послал меня в обратную сторону, к Медному: «Поезжай, выясни, что и как». Я мотнулся на машине со своими ребятами.

Метров через восемьсот, на перекрестке перед медновским мостом, увидел Ротмистрова, Кулешова и Конева. Все трое – будущие маршалы.

Как раз семнадцатого октября был образован Калининский фронт, и Конев назначен его командующим. Он этим утром прилетел на У-2 и сел на поле. К нему перешло командование нашей группой. Конева я тут увидел в первый раз.

Начальство решало, как за танками не пустить пехоту. Конев сказал: «Надо подержать этот перекресток». Кулешов показал на меня: «Вот он и подержит». Дали мне два ручных пулемета.

Эта сцена у медновского моста потрясает. Только что, всего две недели назад, Конев, щит столицы, командующий Западным фронтом, повелевал могучей силой – шестью армиями, сотнями тысяч солдат, офицеров, генералов…

Все рухнуло, как в страшном сне, – и вот Конев на безмерно сузившемся пятачке его возможностей ставит боевую задачу перед залетной стайкой косовских хлопцев.

Жуков, спасший тогда Конева от Верховной кары, анализировал после войны причины октябрьской катастрофы: «Я не могу умолчать, сколь неповоротливо оказалось командование западным фронтом, в чем виноват, прежде всего, командующий Конев».

На спуске с медновского моста лес не подходит к шоссе. Но там были какие-то песчаные карьеры, справа от спуска. В них мы и устроили засаду.

Немцы ехали на двух могучих дизелях, «маннах», метрах в десяти друг от друга. Рота, которая была нужна в Марьине, по шестидесяти человек в машине, вплотную, плечо к плечу. Немцы катили очень самонадеянно, и очень удобно было стрелять.

Мы стали бить по брезентам. Каждая пуля находила цель. Раненые кричали – ужас! Живые рассыпались по кюветам и уползли назад. Нас не преследовали. Их потрясла неожиданность. Кроме того, вероятно, первыми пулями убило старшего офицера. А то бы мы так легко не отделались.

Вернулись к себе. Командир дивизиона приказал мне:

«Забирай раненых и уматывай». У нас были раненые после бомбежки и Камушкин после вчерашнего дня. А в обе стороны по шоссе – немцы. Я решил прорываться сквозь танки через Марьино. Погрузил раненых в машину. Камушкин, когда грузились, успокаивал: «Ребята, не торопитесь».

Уже после войны еду я с женой в метро. Вдруг слышу: «Игорь! То-то знакомая, вижу, морда». Я глянул – Камушкин! Он был начальником отдела учебных заведений ракетных войск.

Разогнали полуторку перед Марьиным так, что она аж стонала. Немцы уже повылезали из танков, ходят-бродят по деревне. Они никак не ожидали такой наглости. Мои артисты прямо с бортов шпарят из автоматов. Если бы кто из танкистов оставался в танке, то запросто мог бы шлепнуть нас из пушки. Но мы проскочили.

Около Торжка встретил авиационную часть. Там моих раненых перевязали, но брать не стали. Госпиталь был у Вышнего Волочка. Сдали там раненых. Нас накормили, и мы уже под вечер семнадцатого вернулись в Дубровку, под Марьино.

Только здесь я как-то очухался: бой кончился. Семнадцатого октября был какой-то непрерывный кошмар. Все перепутывалось.

Но это было еще не все. В Дубровках я встретил офицеров из бригады Ротмистрова и нашего командира взвода подвоза Карпова. Он рассказал, что в Марьине у нас остались три машины взвода подвоза: одна – с продуктами, две – с боеприпасами, сверхсекретными снарядами М-13.

Наши машины вошли в Марьино с одной стороны, немецкие танки – с другой.

Я решил эти машины угнать. Оставили свою полуторку в Дубровках, взяли с четверть ведра бензина и отправились. Пришли ночью. Две машины сразу завелись и уехали. Третья – никак. Немцы-танкисты сидят по избам, выпивают, поют. Один из них вышел по нужде и напоролся на моего старшего сержанта Бориса Бардецкого. Борис и застрелил этого немца из нагана. Немцы повыскакивали, стали палить прямо с крыльца из автоматов.

Я в это время сидел на машине, на ящиках со снарядами, вровень с кабиной – поливал бензином. Пожертвовал носовым платком. Мне, когда кончал училище, мать подарила двенадцать штук. В уголке каждого вышила голубым «И. К.» Я намочил платок бензином, поджег и спрыгнул сверху – на четвереньки, прямо в кювет с водой. Как голову не сломал? Да как-то всегда обходится.

Ребята подожгли бак. У ЗИС-5 бак под сиденьем. Открываешь бак, суешь намоченный в бензине платок, чиркаешь спичкой – и

пошло!

Наши реактивные снаряды залетали по деревне! Взрываются! Танки в темноте стреляют трассирующими. Одна трасса прямо надо мной вошла в березу. А мы благополучно смотались.

Хорошо, что в деревне были одни танкисты, да пьяные. От пехоты так просто нам бы не удалось уйти.

До Дубровок мы добежали минут за десять. Я был весь мокрый – прямо из канавы. Шофер полуторки Ионов спрашивает: «А ведро мне вернули?» Он был белобрысый, такой смешливый. Крутил громадные козьи ножки. Все норовил задавить по пути собаку. Я ему запрещал.

После Марьина покатили опять в Вышний Волочек, во временный пункт управления. Обращаюсь к уже знакомому полковнику Рухле: «Товарищ полковник, я хотел бы у Вас узнать, где мой дивизион». Он сказал: «В районе Лихославля», – и показал на карте, как туда проехать окольными дорогами. Туда я и добрался целой колонной часам к одиннадцати утра восемнадцатого октября, подобрав по дороге две наши машины с боеприпасами и санитарную машину с дивизионным врачом Яцевич, которая ехала за нами от Яжелбиц.

Наш дивизион и бригада Ротмистрова отошли с Ленинградского шоссе вбок, на Лихославль, семнадцатого октября. Это был удачный ход. Немцы рассчитывали, что мы будем прорываться через их танки и пехоту на север. А мы нависли над ними. Немцы не могли идти на Торжок, хоть дорога была открыта: мы оставались сзади. В Торжке они бы наделали дел: город был забит армейскими тылами и эшелонами перерезанной Октябрьской дороги.

Существует и другое суждение о том, был ли удачным этот маневр на Лихославль. Командующий фронтом Конев в телеграмме Ватутину требовал:«Ротмистрова за невыполнение боевого приказа и самовольный уход с поля боя с бригадой арестовать и предать суду военного трибунала».

19

В Лихославле мы были недолго. Девятнадцатого октября, обойдя Марьино слева, подошла сто тридцать третья стрелковая дивизия. Прудников был как раз из нее. Наш дивизион переподчинили дивизии. Она пошла на Калинин, обходя его слева, и в Шаблино, близ впадения Тверцы в Волгу, ухватилась за

край города. Немцы тут же втянули свои части в город, и их танки ушли из Марьино.

В Лихославле мне пришлось писать объяснительную о боеприпасах, подорванных в Марьине. Там же я купил на перчаточной фабрике кипу белых перчаток. Дивизиону хватило их на всю зиму.

В Лихославле грязь была страшная. Мои ребята добыли где-то мотоцикл СМЗ. Я на нем джигитовал. Всего-то было двадцать лет. По грязи занесло, и я полетел в самую жижу. Встаю, а рядом останавливается зеленая «эмка». Из нее вылезает Ротмистров. Я стою по щиколотку в луже, весь обляпанный. Положение – глупее не придумаешь! Снимаю с себя ротмистровский маузер, из которого стрелял в Медном борова: «Товарищ полковник, возьмите: это ваш». Он сказал: «А вы, лейтенант, оказались тогда у Ватутина правы. Немцы не пошли дальше Марьина. Оставьте маузер себе на память».

Между прочим, прекрасное это оружие. Один раз стрелял я из этого маузера очень хорошо. Но это уже было на Волховском фронте, и это – другая история…

После войны, после истфака МГУ и многих других историй работал я в издательстве «Наука». Выпускал книгу Ивана Степановича Конева «Записки командующего фронтом. 1943—1944". Приехал к нам Иван Степанович. Директор вызвал главного редактора, другое начальство и меня – редактора книги. Иван Степанович сидит у одного торца стола, я – у другого. Он в упор меня рассматривает. Так, что я чувствую себя неловко. Встали. Иван Степанович смотрит на меня. Я ему говорю:

– Иван Степанович, я с Вами был семнадцатого октября под Калинином.

– Слушай, я ведь тебя помню. Ты ходил в лыжной вязаной шапочке.

Меня поразила его память. Столько прошло, и я стал совершенно иной.

Работали над книгой. Как-то я с ним заспорил:

– Я ведь сам там был…

– Ну, раз сам был – другое дело.

Его адъютанты побелели со страху. Один из них, полковник Молодых, говорит мне потом: «Как ты можешь спорить с ним…»

Иван Степанович относился ко мне очень хорошо. Раз я уходил от него с Грановского. Он подает мне пальто: «Слушай, у тебя есть хорошие перчатки? Возьми мои меховые…». Увидав, что я подкашливаю, принес «боржоми»: «Ты пей боржомчик, пей».

У него дочь тоже работала в издательстве. Он шутил:

– У тебя в моем доме есть очень хороший адвокат.

– Кто же?

– Моя дочь. Она мне говорит про тебя: «Ты его слушай, он лучше знает».

Когда книга вышла, я привез ему сто экземпляров в Барвиху.

– Посиди, пока я буду подписывать.

Я сел, смотрю, он пишет: «Л. И. Брежневу на память. Конев».

– Ну, а тебе я подпишу несколько иначе.

Игорь Сергеевич достает с полки книгу Конева. Дарственная надпись., Крупный и отчетливый, чуть уже дрожащий почерк какой ставила сельская дореволюционная школа своим ученикам, ставшими потом полковниками, генералами, маршалами:

«Ветерану Велик. От. войны Игорю Сергеевичу Косову.

На добрую память о героических днях войны и сражений на Калининском фронте. Благодарю Вас за мужество и стойкость, проявленные в боях в самые трудные дни войны. Очень признателен за внимание в издании данной книги.

С глубоким уважением,

И. Конев.

18.5.72.»

Иван Степанович сказал как-то нашему главному редактору: «У меня спрашивают, как мы удержались в сорок первом? Сам не знаю, – отвечаю я».

Игорь Сергеевич заметно устал. Речь стала заторможенней, сюжеты извилистее…

… У немцев сродни Коневу был Клюге… У военного человека должно быть чувство – доводить до конца.

Вот, под Мукденом Куропаткин принимал четыре решения. Если бы любое из них довести до конца – была бы победа. А он решения менял – и победили японцы. Куропаткин задолго до русско-японской войны был начштаба у Скобелева. Тот говорил: «Я очень люблю этого человека. Умен и смел, но у него – душа писаря». А самому Куропаткину Скобелев говаривал такое: «Ты будешь хорош на вторые роли, если будешь на первой – разразится катастрофа».

Об этом хорошо сказал Тухачевский: «Ответственность жжет мозг». Вот кто должен был быть нашим Верховным Главнокомандующим…

Под Калинином мы были до начала нашего декабрьского наступления. Шли какие-то невнятные уличные бои на его окраинах.

Вспоминаются отдельные эпизоды.

Однажды я влетел в недостроенный дом. За мной вскакивает немец. Я выстрелил в него из 11-миллиметрового американского кольта, который только что выменял за три литра водки. Глянул я на того немца – смотреть страшно.

– Берите, – говорю, – ребята, свой кольт, как-нибудь обойдусь.

Другой раз стоим у стены с нашим солдатом сибиряком. У него винтовка на локте, крутит цигарку. Только послюнил и скрутил – из-за угла немец. Сибиряк, как-то очень ладно, спокойно и быстро переложил цигарку в левую руку и ударил немца прикладом по голове. У того даже каска лопнула.

Наши каски были лучше. Комполка Гражданкин всем велел носить каски. Пришлось, хоть я это страшно не любил. Но раз я чуть высунулся из окопа – мне по каске ударила пуля. Показалось, голову оторвало. А на каске – только вмятина.

Уже много после смерти Игоря Сергеевича мне попал в руки «Огонек» № 51 за 1997 год. Статья «Уголок Дурова» журналистки Ольги Луньковой… В этом очерке известный российский актер рассказывает о собрании своих редкостей: прялка, кадушка, деловая папка Адольфа Гитлера, галстук из платья Евы Браун, пряжка немецкого солдатского ремня с «GOTT MIT UNS», немецкие офицерские погоны… Среди прочего – советская и немецкая каски. Цитата самого Льва Дурова: «Советские каски – полубутафория, картонкой голову прикрыть, они не от чего не спасали, разве что от комьев земли».

Представляю, как презрительно фыркнул бы Игорь Сергеевич, прочитав эту экспертную оценку.

Общеизвестно, и об этом не раз писалось в широкой печати, что наши каски были лучше немецких и по качеству стали и по своей рикошетирующей форме. Актер и журналистка об этом могли и не знать. Удивительно другое: они, похоже, считали своей обязанностью походя, лишь за то, что «советская», обхаять превосходное изделие, спасшее жизни множеству наших соотечественников, в том числе – и моему герою.

Муза Николаевна, моя супруга, по этому поводу съязвила, что подобная промашка случилась с актером, вероятно, потому, что он по своим профессиональным занятиям имел дело лишь с бутафорскими предметами.

В этих пригородных боях меня послали зачем-то в Дорошиху, рядом с Калининым. А на нее только что был финский налет. Финнов загнали в какой-то то ли коровник, то ли сарай. Пошла

такая драка – шум, крик. Меня черт, конечно, понес. Только я туда вскочил – меня так ловко скосили по ногам. Я – башкой об стенку. Хорошо, был в шапке, здорово шарахнулся. На меня свалилось клубком несколько наших и финнов. Лежу на спине, придавлен, кто-то ногами ерзает по моей физиономии. У меня был десантный нож с резиновой ручкой. Я одного финна ножом ударил в шею, за ухом… Хорошо, прибежали мои ребята. Они выдернули меня из этой кучи, и она как-то рассыпалась. Оставшихся финнов выводили наружу и били по морде, просто сгоряча.

Борис Бардецкий, мой старший сержант, потом меня ругал:

– Чего Вы туда полезли?

– Хотел только посмотреть.

Борис Бардецкий был такой арап! С усами. Получил потом офицерский чин и стал начштаба полка по разведке.

Финны – это очень стойкая публика. Из всех, кого я видал, у них самый высокий уровень подготовки одиночного бойца. Под Калинином их было две бригады. Их посылали в наш тыл для разведки и диверсий.

Вспоминается совсем уж сюрреалистический эпизод из этого этапа войны Игоря Сергеевича, рассказанный им в самом начале нашего знакомства, когда я и не думал о записях.

Калининская пригородная деревня Каликино. Ноябрьский поздний вечер. В густом полумраке разрушенного то ли склада, то ли амбара Игорь Косов и финн, большой, рыжий, скрадывают друг друга.

В руках ножи. Жуткое беззвучное передвижение средь обрушенных досок и стропил, по балкам провалившегося пола. Сцена в духе фильмов ужасов.

Рядом с нашим дивизионом был штаб 119-й сибирской дивизии из Красноярска. Ею командовал Березин. Худощавый, в кожаном, до ужаса потертом пальто. Говорил хриплым голосом.

Позже, зимой 42-го, он попал в окружение под Белым. Вывел свою дивизию. Но в окружении осталось много растрепанных частей. Он вернулся назад и вышел с бойцами во второй раз. Вернулся в третий, но при этом выходе погиб.

Березин сказал нам:

– Кто притащит «языка»– литр водки.

Я говорю своим:

– Давайте, ребята.

Нашли долбленый челнок. Сутки провалялись на берегу Волги, наблюдали за немцами. Это было южнее Калинина, под Эммаусом. Поняли, что на том берегу линии фронта нет, ходят одни патрули.

Ночью спустили челнок. Грести надо было, как на каноэ. Весло – лопатой, с поперечной ручкой. Переплыли Волгу. Вдоль берега дорога. Глядим – появился немец на повозке. Я встал на дороге. Немец поравнялся со мной, протянул горящую сигарету. Думал, прошу прикурить. Мы на него навалились, скрутили телефонным проводом, в рот – тряпку, нашлась в повозке.

Сели в челнок гуськом: я на корме с веслом, наш солдат, немец и другие. Чуть отплыли от берега – немец закрутился. Мог перевернуть челнок, он такой верткий. Я через солдата – бац немца веслом по голове. Он затих. Сели на него, потихоньку двинулись дальше.

На берегу ждет Березин. А пленный – лежит. Березин спрашивает у меня:

– Ты что же дохлятину мне привез? Мне нужен живой.

Говорю:

– Ребята, освежите.

Хлопцы вынули у немца тряпку изо рта, перевернули его вниз головой и макнули в воду. Тот – буль-буль-буль – и очнулся. Нам выдали литр.

Всего на этом челноке я плавал к немцам шесть раз и только в первый – удачно. А в последний немцы нас сильно гоняли. Я сказал своим троим:

– Ребята, идите к лодке, а я их повожу.

Обычно я делал так: давал короткую очередь и уходил в другую сторону. Но тут, видать, ошибся. Немцы прижали к берегу, и мне пришлось прыгать в Волгу.

В воде меня ошпарило, как кипятком. По реке уже шло сало. Течение сильное. Ночь. Автомат на шее: не сбросил, дурак, – жалко. Из-за него плыл почти торчком. Телогрейку не сбросишь – поверх нее всякие ремни. Окоченел, обессилел, стал впадать в безразличие. Думал, что все уже кончено.

Но вдруг ноги почувствовали дно. Переплыл… Стою в полколена в воде, отжимаю галифе. Вдруг слышу:

– Кто идет?!

– Пошел ты…

– Руки вверх! Стреляю! – и передергивают затвор.

А это такой магический звук. Человек подчиняется моментально.

Повели меня сначала в штаб батальона, потом в штаб полка. Я окончательно обледенел. Командир 193-го стрелкового полка майор Майоров меня раньше видел. Закричал:

– Раздевайте его скорей!

Стал поить чаем с водкой. А я засыпаю. Он меня бьет кружкой в лоб:

– Кончай спать!

Позвонили в дивизион. Оттуда привезли новую шубу. Одевают – я сплю. Дивизионный врач сказала, что обязательно будет воспаление легких. А я отоспался и пошел в гости. Командир дивизиона Шаренков пришел навестить – меня нет. Шаренков приказал приставить ко мне часового. Я заскучал. Нашел в сенях узенькое окошко, выкинул скрученную трубочкой шубу, протиснулся сам и выпал в снег. Приходит Шаренков – опять меня нет. Приказал отправить часового на гауптвахту. Разведчики бегут ко мне. Являюсь:

– Часовой не виноват.

– А как ты это делаешь?

– Вы встаньте часовым, я покажу как.

После этого Шаренков простил часового. А у меня никакого воспаления легких не было. Здоровый был малый.

С юга от Калинина Ленинградское шоссе перекрывали 5-я стрелковая и Коммунистическая дивизии. В свое ноябрьское наступление немцы стали их сбивать. Коммунистическая дивизия не выдержала, открыла фланг. Пятая развернулась к Волге и отошла. Немцы пошли на Клин и Москву.

Сумасшедший Д. Д. Лелюшенко, командующий 30-й армией, гонял меня через Волгу к командиру 5-й дивизии Вашкевичу. То разрешал тому отходить, то не разрешал. Говорил мне:

– Валяй!

И я бежал, днем, на виду у немцев. Бегал через Волгу не только я. Лед тонкий, под берегом еще трещал. Немцы били по льду из 75-миллиметровых минометов. Как шарахнет мина рядом – сечет ледяной крошкой. Иной раз мина рвется подо льдом. Тогда обдает водой – весь заледенеешь.

Генерал армии Д. Д. Лелюшенко в первом издании своей книги «Москва – Сталинград – Берлин – Прага. Записки командарма» так оценил эти перемещения нашего героя: «Следует отметить смелость и находчивость начальника разведки дивизиона лейтенанта И. С. Косова».

Игорь Сергеевич был редактором этого первого издания «Записок». У меня есть и второе. Посмотрел в него. Там указан другой редактор и, любопытно, автором уже опущена ремарка о смелости и находчивости лейтенанта Косова.

Наш дивизион все это время стрелял по немцам через Волгу.

Раз я увидел в стерео клуб дыма на улице в Прибыткове, деревне на той стороне Волги. Так бывает, когда пехота зимой останавливается на перекур. Это был батальон немецкой пехоты. Докладываю командиру дивизиона. Спрашивает:

– Ты четко видишь?

– Да.

– Стреляй.

Я быстро подготовил данные и очень удачно накрыл этот батальон. Услышав свист снарядов, немцы стали разбегаться, но многих побило. В Прибыткове эти немцы валялись по всей улице. Это было незадолго до нашего наступления. Им было, видать, уже не до похорон.

Залп лег очень здорово, и деревня почти не пострадала. Обычно деревянные дома в деревнях в полосе залпа загораются, а тут пожаров не было. Конечно, и случай, и удача. Обычно погибает много местных.

Игорь Сергеевич сморщился:

– А-а!…

21

Мы получили приказ на наступление 4 декабря, часов в 12 ночи. Наш дивизион должен был участвовать в артподготовке. Я из Савватеева повез приказ в дивизион, стоявший ближе к Шаблину. И заваливаемся на своей полуторке в кювет. Никак не можем ее вытащить. Ужас! Навстречу идет колонна машин. Борис Бардецкий говорит мне:

– Поднимите воротник и поменьше разговаривайте.

Выходит на дорогу, останавливает колонну:

– Надо помочь товарищу полковнику.

Высыпали шофера, облепили машину. Я, было, сунулся к ним, Борис меня остановил:

– Товарищ полковник, Вы встаньте в сторону.

Вытащили машину на руках, офицер обращается ко мне:

– Товарищ полковник, разрешите следовать дальше.

Что остается:

– Следуйте. Благодарю.

Привезти приказ успел во время.

Пятого в начале наступления я был в Поддубье, наблюдателем в порядках пехоты. Она готовилась наступать через Волгу на Эммаус.

Тут мне пришлось побывать командиром пехотной роты. После артподготовки командир стал ее поднимать. И ему пуля прямо в лоб! Знаете, как это на солдат действует.

Почему я вскочил – не объяснишь. Я поднялся со своими разведчиками, и рота пошла за мной. Да как еще пошла! Стали

обгонять.

Когда бежишь в атаку, очень хочется лечь. Волга широкая. Пули бьют по льду, ледяные брызги секут лицо, как осколки стекла. Бежишь, хорошо бежишь.

Мы довольно быстро проскочили Волгу. Потери были небольшие. Много сделала наша артиллерия. Она перенесла огонь за 150 метров до нашего подхода к немецким окопам. Били прицельно. Эммаус остался практически цел. Ворвались на берег, в первую траншею. Я вскочил в блиндаж. Немец на меня вскидывает винтовку. Прямо над моим ухом какой-то сибирский стрелок выстрелил – убил. У меня несколько часов как пробка торчала в ухе.

Есть в атаке такая психологическая особенность: после первой траншеи солдат ни за что дальше не поднимешь. Они рыщут, как собачки, все обнюхивают, обшаривают. Но смотришь – присели, стали крутить цигарки, закуривать… Тогда можно давать приказ подниматься.

Мы прошли Эммаус двумя взводами по левой и правой стороне. Потом один взвод я оставил, а с другим пересек Ленинградское шоссе и двинулся на Прибытково. Прошли метров 800 и встали в круговую оборону.

Тут роту у меня отобрали. Покомандовал несколько часов, но часы самые «приятные» – атака после артподготовки. Назавтра меня сильно отлаял командир дивизиона за самодеятельность:

– Не твое дело с пехотой в атаку бегать! Дивизион оставил без глаз!…

Дальше я уже двигался со своими. Нас придали 119-й дивизии. Она была очень организованна. Ее командир, генерал Березин, штабом всегда подпирал передовую. Артиллерией дивизии командовал полковник Голецкий. А я должен был поддерживать связь со своим дивизионом.

Двигались медленно. Взяли Прибытково. За ним торчал калининский элеватор и тянулся длинный вал, поросший кустами. По этому валу мне пришлось прогуляться с командиром полка Гражданкиным. Немцы постреливали с макушки элеватора, кидали мины, а Виктор Иванович неторопливым, скрипучим голосом объяснял мне, что на морозе, чтобы согреться, водку надо пить маленькими глоточками.

Виктор Лапаев одно время жил в Калинине неподалеку от элеватора. Там, кстати, он и показывал нам своих червей. Местные жители рассказывали ему, что после боев 41-го года на поле перед элеватором лежало множество наших – человек триста-четыреста. Пострелял их, по рассказам, немецкий пулеметчик, засевший на крыше элеватора. Его удалось сбить

только из пушки. Немец полетел вниз и зацепился за какой-то крюк на глухой отвесной стене. Снять его было невозможно, и он провисел на стене года два.

После Прибыткова мы пошли на совхоз Морозово. Там я отморозил себе ухо. Мы ехали ночью, без фар и запорошились в канаву. Говорю: «Ребята, двое со мной, остальные вытаскивают». Тут по дороге действовали финские «кукушки». Они стреляли с деревьев. Мы прошли вперед, залегли и отвечали на вспышки выстрелов. Отвлекали от ребят, которые вытаскивали машину. У меня был разведчик Ламонов, необычайной силы. Палец – два моих. Он всегда говорил: «Ребята, я лучше один,» – и вытаскивал машину.

А я сделал глупость: поднял ухо ушанки, чтобы лучше слышать. Отморозил ухо, оно потом висело у меня до плеча. Фельдшер с него шкурки драл.

Когда мы вышли на Морозово, немцы уже скисли. Они уходили по дорогам, и мы шли по дорогам за ними. Снега были непролазные. Немцы вовсю жгли деревни. Как впереди загорается деревня – значит, немцы отходят.

В Морозове все штабы утеснились в одной уцелевшей избе. Сидим в ней вечером. Темно, коптилка… Вдруг на улице вспыхнула стрельба: финский налет. Мы кинулись наружу. Выскакивая, я схватил в сенях какой-то железный прут, вроде арматурного стержня. На улице, в темноте увидел на фоне снега силуэт в финской шапочке. Финн на коленях высунулся из-за угла избы с автоматом. Замешкайся я на секунду, он срезал бы нас всех. Рефлекторно, не думая, я размахнулся. На замахе зацепил Голецкого и рубанул финна по голове. Он ткнулся в снег.

Утром видим – лежит у крыльца. А Голецкий мне говорит:

– Нехорошо бить полковников. Ты меня так звезданул по папахе.

Я потом все пытался сообразить, как этот прут попал мне в руку, и не мог вспомнить.

Все это время холодища была страшная. Печенки замерзали. Раз шли с пехотой на лыжах к Цветкову. Занесено, идти тяжело. Меняемся через пятьсот метров. В Цветкове должны быть наши. Но когда подошли по полю к деревне, нас немцы встретили огнем. Мы залегли. Все мокрые. С восьми утра до двенадцати дня пролежали в поле. Подошла 315-я дивизия и выбила немцев из деревни. Там нас отогрели.

Потом, уже под Погорелым Городищем, была деревня со смешным названием Пример. Мы вышли к деревне из леса, она была в метрах трехстах, на пригорочке. Немцы чуть отпустили нас в поле и положили в снег. Назад не уйдешь. Мы пролежали с

восьми утра до шести вечера. Жуть, жуть… Хотя на мне и были ватные брюки, ватник и верхний меховой финский костюм. Ребята мои, наверное, какого-то финна ободрали. Тогда никто не обращал внимания – с кого и что на тебе.

Я был все время наблюдателем в порядках пехоты, поэтому и приходилось лежать с ней вместе. Дивизион шел сзади – пятьсот человек, 118 машин.

После Морозова нас загнули на Калинин, и через него мы пошли на Старицу. В этих местах под одной деревней я видел столько убитых наших, как никогда больше не видел. На деревню вышли в лоб, упорно давили, деревню взяли. Но по всему полю, как снопы, лежали тела в разных позах.

Под Старицей какая-то деревня, не помню названия, очень трудно нам досталась. Мы, артиллерийские наблюдатели, забрались повыше, на чердак. Два батальона финнов вышибли нашу пехоту из деревни. Мы остались на чердаке и отбивались несколько часов. Стены у дома толстенные, пушки у них не было – с нами ничего не могли поделать. Главное было – не подпустить на гранатный бросок. Финны пытались подобраться, для этого надо было перескочить через низенький заборчик. И мы так много наложили их около этого заборчика… Потом наша пехота выбила их из деревни. Потом опять вышибли нас, и мне пришлось удирать – на лыжах, напрямик с обрыва волжского берега. Так разнесло – не знаю, как устоял. Упади – тут бы меня сверху и расстреляли.

Уже много после войны Виктор Лапаев, второй герой этой книги, купил избу в деревне Сельцо, под Старицей, как раз в тех местах, о которых рассказывал Игорь Сергеевич. Я несколько раз приезжал к нему погостить и порыбачить. У Виктора было странное плавучее гребное средство, нечто вроде катамарана на двух подвесных авиационных баках. В поисках удачного для ужения места мы на этом аппарате перемещались вдоль и пересекали поперек узкую и быструю там Волгу. Бросали якорь и застывали средь быстрых струй, порой до темноты. Думаю, со стороны мы карикатурно напоминали двух иноков с Нестеровского «Молчания».

Молчали и мы. Виктор смолил сигареты. Я поглядывал на противоположный, коренной берег Волги, темной стеной встающий на закатном небе, и у меня холодело сердце, когда я представлял себе крошечную фигурку лыжника, отвесно падающую с этой кручи.

Вернемся к Игорю Косову, в заснеженное, промороженное Верхневолжье первой военной зимы.

Всю зиму, в декабре, январе, феврале, мы медленно вытесняли немцев.

Новый 42– й год встречали в лесу. На елку навешали всякие склянки. Разожгли костер. Свои шубы отдали нашей врачихе Яцевич. Я в полушубке и ватных штанах полулежал у костра. Искра попала на штаны и прожгла до мяса. Как я взвился!

В феврале 42-го дивизион с 31-й армией вышел к Погорелому Городищу. Немного не доходя до него, дивизион встал на ночь в деревне. Там же был госпиталь. От передовой – километров пятнадцать-двадцать.

Утром сижу, завтракаю. Пил чай с колбасой – так вкусно… И вдруг – налет финнов. Они, видать, прозевали, как наш дивизион ночью, с выключенными фарами вошел в деревню. Финны заходили в наш тыл до ста километров в глубину. Страшно жестокие, вырезали всех.

Я выскочил из избы в одной гимнастерке, без пояса, с автоматом. Почти столкнулся с финном. Он вспрыгнул на невысокую крышу, как они это делают. Я стал его оттуда сбивать. Он скатился с крыши и побежал, ловко подпрыгивая, чтобы ноги не вязли в глубоком снегу. Его лыжи и палки остались. На финских лыжах очень удобный, стальной, обитый кожей носок. Суешь ногу – ее обхватит пружиной, и нога не вертится. Я надел лыжи и догнал финна на огородах. Он отбросил автомат: кончились патроны. Обернулся ко мне, выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил. Я ничего не почувствовал, но он попал мне в ногу. «Ах ты, зараза», – и я срезал его из автомата метров с пятнадцати. Он упал. Я добил его, не подходя: они такие хитрые. Когда подошел, финн был мертв. Срезал погоны, взял документы для разведки.

Тут почувствовал – ногой не повернуть, и валенок полон крови.

Яцевич, врачиха нашего дивизиона, меня опекала. Ей было лет сорок.

Ругала она меня, ругала:

– Зачем ты опять полез на рожон?!

– Я не лез.

– Будешь терпеть?

– Буду.

Она стала, как шомполом, чистить рану. Так называемое, сквозное, пулевое. В мясе – ошметки от брюк, шерсть от валенка.

– Больно ли было? Не то слово. А зажило дней за двенадцать.

До этого бог миловал. Еще ни разу не был ранен, только 17 октября сильно контузило.

Когда мы вышли в район Погорелого Городища, фронт встал.

Нас решили отвести в Калинин ремонтироваться. Термин, кстати сказать, старинный, кавалерийский.

Перед уходом мне захотелось навестить приятеля. Он сидел на наблюдательном пункте. Я, как идиот, пошел напрямик по полю, а не в обход, как все. Думал, кто будет стрелять по одиночному? Но немцы по мне стали кидать из 82-миллиметрового миномета. Я упал в снег: осколки в нем вязнут. Но меня и в снегу ударило по ногам. Разорвало рукав. Я рванулся, чтобы спрыгнуть в траншею. Передо мной – разрыв, опять рубануло по ногам и по груди. Я прыгнул в траншею. Распахнул полушубок – на гимнастерке кровавое пятно, крови мало. Думаю: худо, внутреннее кровотечение. Расстегнул гимнастерку, а из мяса торчит кусок оперения мины. Я схватился за него – он горячий – и вырвал его.

Когда меня привели в полевой госпиталь, хирург сидел на табурете, свесив руки, и спал после предыдущей операции.

– Анестезии нет, – сказал он, – будешь терпеть.

Дали стакан спирту.

– Я тебе не буду портить ноги, – и стал драть осколки, не разрезая мяса. Больно было везде: сверху, снизу, в голове. Ноги мелкими осколками посекло в форшмак. Сильно попортило крупными осколками. До сих пор, через пятьдесят лет, свищи открываются, и кровь течет.

Положили в избе. Вонь, теснота. Рядом казак из корпуса Доватора. Сильно любил пожрать. Бывало, кричит:

– Сестра! Дай утку и вещмешок!

На другой день приезжает Борька Бардецкий, привез водку, еду. Я ему говорю:

– Борька, я поеду домой.

– Я так и думал.

Я с ним запрыгал к выходу. Сестра кричит вдогонку:

– Куда Вы, больной?!

Подъезжаем к штабу дивизиона, выходит наш командир Шаренков:

– Я не удивлен. Бардецкий, разместить его в избе.

Мне ребята вырезали палку. Я посидел дня три. Потом мы поехали в Калинин на ремонт и встали там в Ворошиловской слободе.

Мои разведчики меня берегли. После контузии приставили человека – давать закурить и для прочей помощи. В Ворошиловской слободе сразу же украли где-то шикарную палку

красного дерева с набалдашником слоновой кости. И я заковылял на трех ногах.

23

Любое сложное явление, тем более, такое, как вторая мировая война, может рассматриваться под разными углами зрения. Мне представляется крайне интересным описание войны как процесса перемещения гигантских людских масс, вовлеченных в нее.

Вероятно, тут срабатывают рефлексы человека, который всю жизнь занимается математическим моделированием всевозможных объектов – от системы «человек, подключенный к аппарату „искусственная почка“, до системы гироскопической стабилизации спутника.

Великие перемещения народов в эту войну протекали так.

Летом 41– го года германский рейх нанес удар страшной силы по Советскому Союзу, вложив в него всю свою людскую и материальную мощь. Этот удар расплеснул людской состав Красной Армии на две почти равные части.

Первая часть отходила к востоку. Она, как подвижная, окровавленная плотина, прогибалась под почти неодолимым немецким напором, рвалась, слепливалась снова. Ее сопротивление погасило победную инерцию вермахта, перетерло его лучшие кадры.

Игорю Косову судьба, а, скорее всего, профессионализм «михайлона» отвели место здесь.

Виктор Лапаев попал во вторую, плененную немцами часть советского воинского контингента. Поразительна цифра – более пяти миллионов, попавших в плен. Немцы, похоже, просто не знали, что делать с такой людской массой, и она поначалу осела на оккупированной территории. Одни из пленных обреченно вымирали в громадных концлагерях на баланде и эрзацопилочной пайке хлеба. Более активные разбегались из-под жидкой охраны, хоронились по хуторам, пробивались к партизанам.

На втором этапе войны динамика перетекания людских ресурсов выглядит так. Можно считать, что в 42-43 годах фронт остановился в глубине России. Поражения 42-го года на Дону, в Крыму, на Кавказе несоизмеримы со вселенским катаклизмом лета и осени сорок первого. Фронт гигантскими жерновами перемалывал живую силу и высасывал мужское население Советского Союза и Германии.

Промышленность и сельское хозяйство Союза перешло на труд

«своих» женщин и подростков, поддерживаемых яростной надеждой на победу.

Хозяйство Германии переводится на «чужую» рабочую силу – военнопленных и мирных жителей, угнанных с оккупированных территорий. Уже с лета 42-го года в Германию с востока потекли потоки рабов. Трагично, что труд наших пленных работал против своих. Меру их сопротивления этому принуждению трудно оценить, но есть два неоспоримых факта, которые свидетельствуют о его силе. Во-первых, подавляющее большинство пленных, даже в тех, каторжных, нечеловеческих обстоятельствах не шло ни на какое сотрудничество ни с немцами, ни с их власовскими и националистическими марионетками. Второй факт – немцам удалось использовать пленных лишь на самой неквалифицированной, черной работе.

Проницательный наблюдатель уже тогда бы обозначил начало конца третьего рейха: рабский труд, в конечном итоге, не смог обеспечить потребности вермахта. Интересно было бы сравнить производительность труда пленных рабов и самих немцев в Германии того времени.

Последний этап войны, рассматриваемой как движение человеческих масс, я бы отнес ко времени, когда фронт повернул обратно. Игорь Косов с побеждающей Красной Армией огнем и громом пробивается на запад, к победе. Виктор Лапаев, один из миллионов марлоков, пережевывается каторгой в глубине Германии.

И, наконец, – 45-й год: водопадное воссоединение обеих частей нашей армии.

Есть в гидроаэродинамике прием – визуализация потоков. В поток жидкости или газа запускаются малые, яркие частицы. Светящиеся траектории таких пылинок наглядно вычерчивают распределение струй, застойных зон, вихрей.

Я думаю, что мои герои не будут на меня в обиде, если я признаюсь, что их траекториями на войне я попытался прорисовать течения сражавшейся и плененной частей нашей армии.

Они проблеснут перед нами, как искры в багровом пожарище войны.

Такая антроподинамическая схема позволяет, кроме того, мне втиснуть хоть в какие-то рамки вороха лежащего передо мной материала.

Термин «динамика», произнесенный мной, побуждает меня как профессионала-механика произнести и слово «сила», поскольку в моей упорядоченной науке сила – это причина движения.

Но кто только не говорил о побудительных причинах,

сталкивающих государства и народы.

Отто фон Бисмарк, которого считают самым великим политиком девятнадцатого века, железный канцлер, создавший Германскую империю, в своих мемуарах раскладывает сухой и логичный пасьянс европейской геополитики. Перечисляет империи: Германская, Австро-Венгерская, Российская, Османская, колониальные державы: Англия, Франция,… обсуждает их коренные интересы…

Относительно будущих отношений России и Германии, Бисмарк полагал, что для них нет причин воевать друг с другом. Для Германии война с Россией означала бы неизбежную и проигрышную войну на два фронта. Для России даже победная война с Германией не окупается из-за невозможности ассимилировать захваченные территории. Зачем, размышлял Бисмарк, России Восточная Пруссия, если она и Прибалтику не смогла переварить за все девятнадцатое столетие.

Пророком в своем отечестве Бисмарка не посчитали.

Пришедшие вслед за ним два поколения немцев самоубийственно устремлялись на Россию. Что влекло их, как леммингов, к погибельной пропасти?

Особенно поражает народное ликование, с которым немцы поднялись на первую мировую войну. Чего им не хватало в своей благополучной стране – «Зеленой Германии», где вдоль дорог растут фруктовые деревья, а извозчик на облучке читает газету? Так Пришвин любовался Германией конца девятнадцатого столетия.

Через двадцать лет после первой мировой Германия снова двинулась на Восток. Германский рейх и Советский Союз, два тоталитарных режима, порожденных первой всемирной бойней, сошлись в самоубийственной схватке.

Сейчас стало общим местом считать оба режима равновеликим абсолютным злом. Такой простоты я не могу принять. Извлекаю из памяти символы веры противоборствующих сторон. Символ веры гитлеровского рейха – превосход-ство своей расы. С этой верой расчищали жизненное пространство для себя миллионы молодых немцев.

Поколение Игоря и Виктора верило, что пошло воевать, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Вера, разительно противоположная хищнической вере национал-социализма.

Несбыточная Чегеваровская мечта о всемирном счастьи, ради которого ты должен взять в руки винтовку.

И каких светлых людей эта мечта порождала.

За сим оставим Игоря Косова выздоравливать в Калинине после ранения и вернемся к другому нашему герою.

После своего третьего побега, на этот раз из каунасского лагеря, он вместе с Андреем Клименко и Анатолием Сидоровым промаршировал с лопатами на плечо через весь Каунас на звук паровозных гудков к железнодорожной станции.

ГЛАВА III
ЯЦКЯВИЧУСЫ

В. П. Лапаев

1

Было уже темно. Мы залегли поодаль, где не ходили железнодорожники, и стали присматриваться. В паровозную будку одного товарного состава вошли машинист и кочегар. Мы влезли на площадку вагона в этом составе и тронулись. Четкого плана не было: лишь бы выбраться из Каунаса, попасть в лес и пробираться на восток.

На второй или третьей остановке поезда мы выскочили. Потом оказалось – в Кайшядарах, очень близко от Каунаса, в сорока шести километрах. С час уходили налево в лес. Я был главным ориентатором: и Андрей, и Анатолий имели по четыре класса, а я кончил десятилетку. Вышли на поляну, похоже, вырубку: много дров, валежника. Отойдя от края поляны вглубь леса, разожгли костер. Вокруг костра каждый сделал себе ложево из лапника. Наконец, обогрелись.

На следующий день Андрей пошел на разведку. Нашел в полукилометре хутор, там ему дали хлеба и сала.

– Почему дали? Как не дашь: может быть, в лесу целый вооруженный отряд. Тогда много наших в лесах бродило.

Уходя с хутора, Андрей увидел – во дворе висит жестяная банка. Он ее снял. Мы в ней стали кипятить воду.

В ночь побега снега не было. А на следующее утро выпало пять-десять сантиметров и сильно приморозило.

Поначалу мы думали всеми правдами и неправдами пробираться на восток, домой. Потом оценили обстановку и решили дожить до весны в лесу. Опыта не было, оптимизма много: мне было двадцать лет, Анатолию двадцать два, Андрею – двадцать пять.

На тот же самый хутор сходил за едой еще раз Андрей, потом

Анатолий. Сидели на одном и том же месте. Но не спамши. Всю ночь вертишься: что повернуто к костру – печет, что от костра – мерзнет. Одеты были тогда в свое: кирзовые сапоги, кальсоны, штаны, гимнастерка, шинель. Позже немцы выдавали списанное немецкое обмундирование. Шинель у них значительно тоньше, китель тоже совсем жидкий.

Дней через десять мы стали – как пьяные. Все время знобит. Единственное желание – оказаться в теплой избе и согреться.

Решили сдвинуться. Шли день. Уже темнело, когда вышли к хутору, впритык к лесу. На отшибе сарай. Двери там не запирают. Зашли в сарай – это оказался ток. Поели из мешков ржаного зерна. Нас трясло. Мы зарылись в овсяную солому, насыпали сверху, прижались друг к другу. Мягкое, мягкое, теплынь страшная…

Утром слышим – кто-то по-литовски кричит снаружи, но дверь не открывает. Хозяин хутора, Яроська, как он потом нам рассказывал, подошел к сараю, а к воротам от леса ведут следы, три следа. Он сначала побоялся открыть ворота, крикнул:

– Кто там? Выходите!

Мы лежим в состоянии полной апатии – лишь бы не вылезать из тепла: так намерзлись в лесу.

Яроська не побежал за людьми, за оружием, не побоялся открыть ворота:

– Выходите.

У нас – полное безразличие: черт с ним, немцы или кто там… Там, в лесу, была какая-то страшная страница. Мы вышли.

– Русские? Кто такие?

– Бежали из Каунаса.

– Пойдемте в избу.

Хозяйка затопила печь, накормила похлебкой. Яроська смотрит благожелательно, рассказывает, что при Советах он был членом сельсовета, сочувствующий, бедняк. Потом сказал: «Вы идите к Яцкявичусам. Это два брата, кулаки, но они очень любят русских. Они вас примут. У них большая власть».

Мы влезли на печь, на нее нам накидали одежды, чтобы не жгло снизу. Хозяйка предлагает молочка. Мы боялись – нас опять отправят в лагерь, но видим такое отношение – отмякли. Для литовцев с войной мало что изменилось. Немцы ушли к Москве, а они как жили, так и осталось. К пленным относились благожелательно: не считали беглыми бандитами.

Лежим мы на печи день, второй. Нас трясет. Я горю в лихорадке. К вечеру второго дня, как сквозь туман, вижу с печки – сидит старый, высокого роста мужчина с висячими усами. Разговаривает с Яроськой, посматривает на печку. Яроська

говорит нам:

– Ребята, слезайте. Блажей пришел.

Потом Блажей на чистейшем русском языке:

– Ребята, пойдете ко мне?

– Пойдем.

– Только вы будете не все трое вместе. Самый молодой, – указал на меня, – пойдет ко мне, а вы, – Андрею и Анатолию, – пойдете к Стасису.

Мы и поплелись. До Блажея было километра полтора-два. Привел он нас к себе. Потом пришел Стасис, второй из братьев Яцкявичусов. Вызвали местного врача. Тот смерил температуру. У меня – 38. Обо мне он сказал: «Простуда. Пусть лежит здесь. У этого, – указал на Андрея, – воспаление легких, – на Тольку, – не могу определить. Давайте их в кайшядорскую больницу».

На следующий день братья послали кайшядорскому коменданту, немцу, большую бутыль самогона, окорок и индюшку. Я сам видел, как сын Стасиса Антукас все это завернул и понес. Еще через день приносит две бумаги по-немецки: «Разрешается гр. такому-то содержать пленного такого-то». Я в бумаге назвался Сидоровым. После этого мы обрели официальный статус.

Андрея и Анатолия отвезли в больницу. У Анатолия определили тиф. Жена Владаса, второго сына Стасиса, возила им в больницу передачи. Они выписались недели через две-три. Я выздоровел у Блажея за пару дней.

3

Братья Яцкявичусы были родом из крестьянской, бедной, в пять человек детей, семьи.

До первой мировой войны многие уезжали в США. Кто эмигрировал насовсем, кто на заработки. Уехали и братья. Проработали года три у богатого фермера. Блажей мне много рассказывал, как жил в Америке. Что рассказывал – не помню, все протекло.

Братья вернулись домой перед самой февральской революцией с хорошими деньгами. Местный польский помещик, почуяв, видать, куда идет дело, продал поместье «Утерня» на шестьдесят шесть гектаров пахотной земли, а всего сто пятьдесят-двести гектаров. Только они купили – революция. «Хорошо, что успели купить», – говорили они. При всех переменах властей: и в

независимой Литве, и за год советской власти, и сейчас, при немцах, они оставались владельцами «Утерни».

Полные сил и здоровья, они хотели осваивать свою землю. Но в 18-м году в Прибалтику входят по Брестскому договору немцы. Братья решили эвакуироваться в Россию. Почему – это тогда меня не интересовало. Блажей рассказывал, что из волости уехало человек десять. Приехали они под Камышин. Большую часть литовских беженцев направили в русскую деревню, другую, вместе с братьями, – в деревню немцев Поволжья. Немцы их приняли плохо, народ жадный и педантичный. От тех, кто был в русской деревне, узнали, что там живется лучше. Попросились и они к русским, их перевели. Попали в семью, где их встретили очень тепло: детей брали на руки, принесли молока… Так сдружились – не хотелось уезжать. Когда отправились в 21-м году на родину, плакали и литовцы, и русские.

С этого времени Блажей и Стасис полюбили русских и не терпели немцев.

Советский режим они приняли враждебно, хотя «Утерню» у них не успели отобрать.

Когда пришли немцы, братья к ним отнеслись настороженно.

Я тогда их понимал как кулаков, и только сейчас стал видеть, насколько все сложнее в жизни. Это были кулаки, которые не принимали советскую власть, ненавидели немцев и любили русских.

Нам Яроська говорил, что они трудолюбивые, богатые, добрые люди. Так и оказалось. Братья были старые и мудрые, хотели хорошо относится к ближнему, какие-то толстовцы, святые. Они меня любили.

Яцкявичусы жили и вели хозяйства порознь. Усадьбы стояли по разные стороны озера. Блажей, хоть и был моложе, считался главным в роду. В разговорах и спорах высказывал интересные мысли и аргументы. Меня он прозвал «комиссаром». Стасис был очень молчалив.

У Блажея, похоже, не лежало сердце к хозяйству и дому. У него был большой дом, много скотины: шесть-семь лошадей, одиннадцать-восемнадцать коров, свиней десятка полтора, много кур, гусей, индюшек. Куры неслись где угодно. В одном месте яйцо, в другом, а то – целая сотня. Я там привык пить сырые яйца. Блажей держал тяга – племенного борова. За случку давали 50 марок. Потом тяга этого по старости резали. Вшестером, связавши ему руки-ноги. Я помогал. Боров потянул 36 пудов.

А жил Блажей, как бедняк-крестьянин, обстановка в доме была самая бедняцкая. Он поздно женился, лет шестидесяти. В то время у него было трое детей от трех до семи лет, жене – лет

тридцать. Она меня поразила: ходила согнувшись, плоская, неряшливая. Все спали на нарах.

– Какие там простыни? Накрывались лоскутным одеялом.

Стасис жил богаче и чище: там, видимо, за порядком следила сноха. У него было два взрослых сына: Антукас лет двадцати двух и Владас – под тридцать. Антукас в свое время окончил каунасскую гимназию и теперь служил переводчиком у кайшядорского коменданта.

Был Яроська – член сельсовета. Фронт прошел – стал никем. Был Антукас никем, стал большим человеком – переводчиком у коменданта.

Мы жили у Яцкявичусов до лета 42-го года. Работали вроде батраков. Хотя какие из нас батраки: мы были городскими жителями. Я ходил за скотиной, чистил скотный двор, летом косил сено.

Ко мне Яцкявичусы относились хорошо. Я был для них свой, как сын. Ели, жили вместе. На стол ставилась громадная миска, и из нее хлебала вся семья, я и еще два батрака. Мне не нравились постные дни, которые они соблюдали: ели тогда только картошку, забеленную молоком, и хлеба – сколько хочешь, нарезанного крупными ломтями.

Любимая еда на пасху была «скиландис». Его готовят так. В ноябре резали две-три свиньи. Лучшее мясо – вдоль позвоночника, под салом, режут на куски. Недели две замачивают в чесночном рассоле с какими-то травами в большом деревянном корыте. Этими кусками туго-натуго набивают свиные желудки, зашивают и держат на чердаке под прессом до пасхи. Получается жесткое-жесткое мясо сизого цвета, очень вкусное.

4

Жизнь была однообразная, день за днем вспоминать бессмысленно. Сильное впечатление от бань, под католическое рождество и на пасху. В бане три полка. Я на второй еще залезал, на третий не мог. У них многие могли лежать и на третьем. Распаришься – и в прорубь. Поплаваешь, остынешь – опять в баню, и так несколько раз.

Мы жили у Яцкявичусов совершенно свободно. Ходили на вечеринки. Не зная языка, мы сначала держались больше в тени. Не танцевали. И я сидел.

А потом у меня появилась Катря. Она сама пригласила меня

танцевать. Я с ней и затанцевал. Катря была батрачкой у одного богатого литовца – деревенская, неграмотная девушка, очень хорошенькая.

Когда я ловил на озере рыбу, она прибегала ко мне. И мы с ней уходили в кусты бредняка…

Виктор скосил на меня свой ястребиный глаз, чертеж его морщин стал еще замысловатей. Он долго разминал папиросу, закурил…

На вечеринки стал ходить саванорис, литовский доброволец в немецкую армию. Приехал на побывку, ходил в немецкой форме. Катря передала мне, что саванорис грозился: «Если „комиссар“, то-есть я, придет еще раз – я его расстреляю». Мы втроем, я, Андрей, Анатолий, подстерегли в темноте этого саванориса. Он не понимал по-русски, мы – по-литовски. Андрей говорил:

– Кокнем.

Я был против:

– Тогда придется уходить.

Мы его отпустили, дав понять: «Будешь грозиться – прикончим». И тот уехал.

Я быстро овладел литовским языком. У литовцев, особенно на востоке, рядом с Белоруссией, в языке есть нечто общее с нашим.

«Значит» у них «знучане», «вода» – «вандас». На западе Литвы язык отличается сильнее.

Сродство языков балто-славянской группы уже и раньше отмечалось в Викторовом рассказе.

Его дважды арестовывали литовцы. Команда «руки вверх», воспринятая, естественно, на слух – сначала Виктором, потом мной в его пересказе – звучала то как «ранкай вершум», то как «ранкаю вершун». Попытка найти лингвистически грамотную транскрипцию этой формулы ни к чему не привела. Пришлось махнуть рукой и писать, как слышится, благо формула весьма понятна русскому уху: «ранкай» – чем не «руки», а «вершум!» – ясно, что «вверх!»

5

Тогда примерно половина литовцев была за советскую власть, половина – против. Блажей, хоть и не любил советской власти, но считал, что немцам Россию не удержать. В Литве было полное самоуправление. Малые немецкие гарнизоны стояли только в

уездных городах. Сами литовцы арестовывали просоветских активистов. При мне арестовали Яроську как члена сельсовета, потом выпустили.

Яроська рассказывал мне, что во время нашего отступления он нашел на дороге машину. В ней, откинувшись, лежал генерал. В руке револьвер, голова пробита. Видимо, застрелился. Яроська генерала похоронил, взял документы и одежду. Ходил потом в его шинели и жестких, высоких – генеральских сапогах.

Я посмотрел эти документы. Они были на генерал-майора Павлова. командира нашей 23-й пехотной дивизии. Я потом искал упоминания о судьбе этой дивизии во всех военных мемуарах – нигде не нашел.

После войны, в 47 году, я ездил к Яцкевичам. Жил у них неделю. Антукас уже работал на шахтах в Воркуте. Мне рассказали, что Яроську убили бандиты из «лесных братьев» как советского активиста. Хутор сожгли вместе с женой.

В Кайшядарском уезде из банды полковника литовской армии Мишкаса к 47-му году осталось лишь четверо из трехсот. При мне его и поймали. Я тогда познакомился с солдатом из войск МВД, которые добивали эту банду. Он рассказывал, что население сообщало, где бандиты скрываются. Устроили засаду. На нее вышли все четверо. Двух убили, двое, раненных, как в воду канули. Один из местных подсказал: «Посмотрите в баньке». Там их и нашли, они спрятались в двойном потолке бани. Мишкас был с перебитыми ногами. Я его видел: Мишкас лежал на телеге, весь обросший бородой, бледный.

Я после той поездки привозил Катрю в Москву. Она неделю жила у тети Вари, которая выкормила меня своим молоком. Катря уговаривала меня ехать в Литву, я ее звал в Калинин. Она не хотела, плакала.

И мы разъехались. Наверное, – к лучшему. Мы были разные люди.

6

Летом 42 года, где-то в июне месяце, литовцы стали забирать всех пленных, которые жили по хуторам. Антукас потом объяснял: был такой приказ Кайшядорского коменданта.

Сначала пришли за мной. Андрей с Анатолием жили в двухстах метрах, за озером, но уже это считалось – другая губерния. Им сообщили, что меня забирают. Они прибежали,

простились, расцеловались. Я им сказал: «Ждите меня». Надеялся, что Андрей с Анатолием останутся, а я сбегу и приду к ним. Но их тоже взяли через несколько дней.

Литовский полицейский с карабином (винтовок им не давали) привез меня в Кайшядары. Когда набралось человек тридцать, нас отвезли в Каунас. Там нас заключили в тот же самый форт № 8, в котором я уже побывал прошлой осенью.

7

В форте мне стали рассказывать страсти о том, как пережили зиму. Страшный голод. Кормили так: два раза в день баланда из мороженой, гнилой картошки и двести граммов хлеба. Началось людоедство. Валялись трупы с вырезанными ягодицами и мускулами на руках.

Умершие стаскивались на «угол» – площадку 30х40 метров в конце форта. Площадка была заставлена штабелями трупов. Каждый штабель был накрыт брезентом. Их хоронили весной, перед нашим приездом.

В июне кормили так же – водой со свекольными листьями и мороженой картошкой. Я быстро оголодал после Яцкевичей. По краю казематного холма росли тополя. Один засох и упал. Кора уже отставала, под ней были личинки короедов. Их быстро собрали и зашкварили на жестянке. Очень жирные и приятные.

Думаю: надо бежать.

Нас гоняли на работу – выгружать баржи с лесом на Немане. Команду человек в двадцать водили два немца-охранника. От форта до пристани – километра два, сначала поверху вдоль железной дороги, потом сквозь железнодорожный тоннель метров сто длиной. Я ходил на работу дней десять. Присмотрел место при выходе из тоннеля, где кусты подходили метров на двадцать к нашему пути. Думаю, если проскочу эти двадцать метров – немцы не успеют отреагировать.

Так и сделал. В один из дней метнулся из колонны и проскочил в кусты. Там рос густой орешник на зеленой горке. За мной поднялась стрельба. Я поднялся на горку – смотрю. Команда постояла-постояла, и ее погнали вправо, через железную дорогу, к пристани.

Я спустился к полотну, к выходу из тоннеля: в нем поезда сбавляли скорость. Дождался товарного поезда, вскочил на ходу и через час подъезжал к Кайшядарам. Перед Кайшядарами

спрыгнул из тамбура и, не прошло и часу, – был у Блажея.

Узнал, что дня через три после меня Андрея и Анатолия забрала жосельская полиция. Их послали в другой лагерь, в Вильно, поскольку Стасис жил в другой губернии.

8

Я остался у Блажея. Помогал ему работать, но уже на нелегальном положении. Километрах в семи от Яцкевичей была русская деревня Зеленый Борок, Жалис Борок по-литовски. В ней я познакомился с русским мужиком Агафоном. Работал у него: чистил шкуры, валял валенки. Агафон хорошо заплатил немецкими марками и дал еще два мешка ржи. Из этой ржи Яроська сварил мне двадцать литров самогона. На самогон я купил себе литовский пиджак.

Вскоре у нас появился Федя Богатырев. Он тоже откуда-то бежал и ему сказали: «Иди к Яцкевичам». Он был рязанец, года с шестнадцатого-семнадцатого, по виду – типичный русский, с рыжеватой бородкой. Натура решительная, жесткая, сильный патриот. Он потому и бежал, что тянуло на родину.

Некоторое время мы помогали Блажею убирать сено. Потом пошли слухи, что в районе Свенцян действует партизанский отряд Маркова. Мы с Федей договорились пробираться к нему.

Везде было много брошенного оружия. Мы сделали из винтовки обрез. А потом учинили хамство: перед уходом обворовали Блажея. Меня и сейчас это мучает: может быть, надо было придти к нему и обо всем рассказать. Но Федя нажал: «Брось ты жалеть этого кулака». Вечером, когда все уснули, мы влезли в погреб, взяли мыла кусков восемь-десять, килограммов десять сала – они только что зарезали свинью, оделись, я – в костюм Антукаса. Взяли килограмма четыре мыльного камня. Это такой минерал, который добавляют в солод вместо дрожжей, когда гонят самогонку. Много класть нельзя: ядовито, от этого даже умирали. Блажей камнем приторговывал, с камнем по деревням ходили спекулянты. Мы решили идти не ночами-лесами, а смело как спекулянты мыльным камнем. Там была, по сути дела, уже Белоруссия, жили и белорусы, и поляки. Меня принимали за поляка.

Пошли. Сначала все было очень удачно. Меняли сало и камень на хлеб. Постучишься вечером на хуторе – дают в окошко. Жители боялись: по лесам ходили и бандиты, и партизаны.

Уже километрах в ста пятидесяти от Кайшядар близ деревни Трис Гигутис – Три Кукушки мы зашли на хутор. Хозяин – белорус был очень в тревожном состоянии: «Ничего мне не надо». Предложил поесть. Мы едим, он все смотрит в окно. Шоссе было метрах в трехстах от хутора, от шоссе – проселок к хутору. Вдруг он говорит: «Едут, уходите». Глянули: от шоссе скачут трое на лошадях. Мы метнулись во двор – за двором густая рожь, лес метрах в восьмистах. Мы – нет, чтобы залечь – побежали по ржи к лесу. Конные от хутора увидали. Один погнал прямо на нас, двое – обрезать от леса. На меня наскочил верховой, ударил по голове рукояткой нагана. Я потерял на мгновение сознание и упал. Тут же взяли Федю. Он только и успел выбросить улику – обрез.

Это была литовская полиция. Нас привели на хутор. Полицейские набросились на хозяина: «Ты говорил – никого нет». Здорово его избили, он был весь в крови. Заставили запрячь лошадь и повезли всех троих в Старые Свенцяны. Что было потом с этим белорусом – не знаю. Пока нас везли, он рассказывал, как было дело. Здесь была уже партизанская зона, и полиция была настороже. Кто-то сообщил, что к хутору прошли двое подозрительных. Полицейские – к хутору, спрашивают у него:

– Есть кто у тебя?

– Никого нет.

Еще он нам сказал: «Вам, дуракам, надо было залечь…»

9

Привезли нас литовцы в Свенцяны и посадили обоих в маленькую комнатенку уездной каталажки. Кормили. Наверное, неплохо, иначе запомнилось бы. Сохранились традиции сметоновского режима, когда все было просто. К заключенным даже пускали родственников.

Через несколько дней нас переправили в Вильно, в центральную тюрьму Лукишки. Там было два корпуса. Политическим ведали немцы, криминальным – литовцы. Нас ввели сбоку, в политический: кафельный пол, наверх металлическая лестница, обтянутая сеткой, чтобы нельзя было с нее кинуться. Железные подковки на сапогах у немцев стучат по лестнице. Этот стук бил по мозгам все время, что я сидел в Лукишках. Одели в тюремную одежду. Посадили в одиночную камеру № 197.

Потом, когда мои показания проверяли уже наши, мне

следователь сказал: «На столике есть Ваши инициалы В. Л.»

Какова судьба Феди – не знаю.

Я сидел в Лукишках четыре с половиной месяца. Это был самый страшный период моего плена.

Кормежка была прескуднейшая. Утром – сто граммов хлеба, намазанного повидлом или маргарином, и кружка бурды – кофе. В обед – баланда из свекольных стеблей, с песком, сто граммов хлеба, каша – ложка перловки. В ужин – гороховый суп, хлеба не давали.

Два раза возили на легковой машине на допрос в гестапо. Я там рассказал все – как было. Все, кроме обреза и воровства у Яцкевичей. Говорил: «Бежал, чтобы пробраться домой». Следователь все записывал. Не били, все очень корректно.

Режим в тюрьме был такой. В восемь утра – подъем. Откидную кровать и такой же стол поднимали и запирали к стене. Оставалась только табуретка, но садиться на нее не разрешалось. Весь день ходишь. Камера 3х4 метра. Я и сейчас, как разволнуюсь, хожу. До двенадцати часов в нашем политическом корпусе – тишина. В открытую форточку из криминального корпуса слышны мат, пение.

Дело в том, что из Лукишек ежедневно увозили в Понары на старые карьеры – расстреливать. За смертниками утром, до двенадцати, приезжала машина.

Черная машина останавливается во дворе. На крыле, нога за ногу, сидит эсэсовец и следит, чтобы не выглядывали в окна. Чуть заметит – стреляет из пистолета. Мы краем глаза из угла окна, через высокий подоконник смотрим. В гробовой тишине издалека слышно цоканье подковок на лестнице. Потом слышишь стук подковок по цементному полу коридора,… приближаются к твоей двери,… прошли… Заскрипел замок – не тебя.

Машина уходит на Понары, и в нашем корпусе возникает шумок жизни.

В ноябре шаги остановились у моей двери. Открывается дверь: «Выходи».

Все… Никто и знать не будет… Я сам идти не могу. Пошел по стене, конвоир поддерживает. И страх, и полная апатия, безразличие: все равно. Приводят в канцелярию: «Одевайся». В свое, как и тех смертников. Но выводят не во двор, а на улицу.

На улице я сел: не могу идти. Полулежа приткнулся к цинковой водосточной трубе. Проходит народ, глянет, отводит глаза. Немец что-то мне говорит, вежливо, не пинает, пытается поднять. У меня, с одной стороны, – полная изможденность, с другой – понял, что не расстреляют.

Минут через пятнадцать немец остановил подводу. Меня погрузили и повезли. Часа через полтора приехал. На воротах вижу: «Шталаг». Ну, все понятно. Лагерь – значит, ты уже не в одиночку, а с людьми.

Меня окружили: человека привезли с Лукишек.

Настроение в лагерях стало меняться. Война продолжается. Совсем не то отношение со стороны начальства, не то что в 41-м году.

Полицай принес баланды. Пришел врач, повел взвешиваться. Вместе с баландой я потянул 42 килограмма. Сейчас вешу 57 килограммов. Если бы в таком состоянии я попал в восьмой каунасский форт – все! Погиб бы. Когда я сидел в форте, то был, хоть и сухой, но натуристый, сильный.

Это был распределительный лагерь. В нем не работали. Весь день сидели, лежали. Жили в бараке человек на двести, деревянном здании серо-зеленого цвета. Посредине барака коридор, по обе стороны – комнаты по двадцать человек, двухъярусные нары в два ряда, длинный стол.

Я пытаюсь уточнять:

– Виктор, важны детали: как спали, чем накрывались, чем подтирались…

Он изумленно таращится:

– Бог с тобой! Чем подтирались?! Кто бумажкой, кто листком, кто просто пальцем. В сортире все стены были так и эдак расписаны…

Кормили и здесь неважно, но гораздо лучше, чем в тюрьме. Меня подкармливали, потому что прибыл из Лукишек. Ребята старались налить баланды побольше и погуще. Полицейские и переводчики говорили поварам: «Дайте ему побольше кусок». Я стал наливаться силой.

Сразу стал расспрашивать про Андрея. Его помнили: «Был. Черный. Кличка – Цыган. Увезли с этапом в Германию».

Пробыл я в этом шталаге с неделю. В конце ноября стало известно, что нас везут в Германию.

Биография Виктора Лапаева подошла здесь к очередному резкому перелому. Впереди у него – чужая страна и новый способ использования его рабочей силы. До сих пор это были случайные экспромты тыловых властей, на которых свалилось непомерное количество даровых рабов. В Германии его ждет рационально

организованная система утилизации любых объемов производительного человеческого материала.

Оставив В. Лапаева у этого порога, мы не нанесем особого ущерба непрерывности его сюжетной линии.

Вернемся к Игорю Косову, дивизион которого после тяжелых осенне-зимних боев 41-го года под Калинином отведен в город для ремонта. Как мы помним, наш герой только что встал после ранения, опираясь на «шикарную палку красного дерева с набалдашником слоновой кости», которую добыли для него вездесущие хлопцы из его разведвзвода.

ГЛАВА IV
ЖЕРНОВА ВОЙНЫ

И. С. Косов

1

В первых числах марта 42-го года меня, командира 1-й батареи Левченко, 2-й – Буянова, 3-й – Агафонова и других послали в Москву. Я был тогда начальником взвода разведки дивизиона, с декабря 41-го – старшим лейтенантом. В Москве формировались части реактивной артиллерии. Нас направили в 48-й полк: Левченко – командиром 268-го дивизиона, меня к нему – командиром 1-й батареи. Дивизионы имели тогда свои номера на случай независимых действий.

Наш командир полка Кулыгин был прямо из тюрьмы. Погиб потом под Сталинградом. Он пожелал познакомиться с новым командиром батареи. Являюсь. Он спрашивает, что я кончил. Отвечаю:

– Третье Ленинградское артиллерийское училище.

– О, нам повезло, – вдруг сказал он, – уже второй командир батареи из третьего ЛАУ.

Первые два дня в Москве мы ночевали в гостинице «Балчуг». Талоны на питание дали в ресторан «Метрополь». Я их добыл у знакомого адъютанта в штабе реактивной артиллерии.

Пошли в ресторан. Входим – Буянов, Левченко и я. Я – в финском лыжном костюме желтого цвета, костюм весь в саже после ночевок у костров. Меховые сапоги до паха. С отмороженным ухом до плеча. Сбоку висит пистолет, еще и маузер в деревянной кобуре. Палка с набалдашником, хожу циркулем.

В «Метрополе» тогда стояли английские летчики-инструктора. Когда мы вошли, все головы повернулись к нам.

Мои орлы любили выпить. Взяли на талоны графин водки. Налили водки в фужеры – шарахнули разом. Англичане поперхнулись и перестали жевать. Я тогда не пил еще водку. Говорю им:

– Ребята, вы хоть в рюмки наливайте.

– Да сиди ты, – отвечают, – тебя не спрашивают.

Потом нас направили в 1-е артучилище на Хорошевском шоссе, оттуда в первый же вечер – на Ярославский вокзал. Пешком. Доковылял на трех ногах… И поездом – на Лосиноостровскую. Наш дивизион стоял в школе. Стали получать технику. Я за ней ездил на завод «Компрессор». Все четыре мои боевые установки были на машинах «форд-мармон-хэррингтон»: V-образный двигатель, сто пять лошадиных сил, автоматическая раздаточная коробка. Получили транспортные английские машины «бэдфорды». Руль – справа, тогда это никому не мешало. У «бэдфордов» сзади один баллон двойной ширины. Такие прочные машины, захочешь сломать – не сломаешь. Англичане любят прочное и добротное.

Получили технику, разобрались с ней, и полк выступил своим ходом на Западный фронт под Елец. Был март-апрель. Снег уже стаял. Грязь повсюду несуразная, жуткая. Даже наши машины перегревались. В каждой батарее был гусеничный трактор с прицепом. Идешь по шоссе – они отстают. Попадаешь на объезд – они догоняют, отцепляют прицеп и по очереди выдергивают машины из грязи. Потом, когда верхняя корка чернозема подсохла, она волной прогибалась под машинами.

2

До начала летнего немецкого наступления 42-го года мы все время улучшали позиции. Ковырялись за всякие высотки. Война беспрерывная, по мелочам. То одна дивизия берет две-три высоты и требует дивизион, то другая. А когда дивизион «катюш» кому-то придают, то «хозяин» выжимает дивизион до конца. Чаще всего мы поддерживали 185-ю стрелковую бригаду Петухова. У него была слабенькая артиллерия: 76-миллиметровая противотанковая батарея и три 122-миллиметровых батареи. Это, конечно, мало. Бригада входила в 48-ю армию, зам командующего которой был А. В. Горбатов – прямо из лагеря. После войны он написал прекрасную книгу «Годы и войны».

Мы долго стояли на Зуше. В июле я стал заместителем командира дивизиона. Командир меня попусту не тревожил: я хорошо стрелял. В жару я лежал под штабной машиной и читал.

Зуша течет здесь по дну довольно обширной долины. По обе стороны реки – высоты. Мы на этой стороне, немцы – на другой. В

один из дней я сидел на наблюдательном пункте на высотке. Дивизион – в пойме реки, внизу подо мной и ближе к немцам, что бывает редко. Немцы контратаковали пехоту Петухова, мы ее поддерживали. Я дал уже тринадцать залпов.

Дивизион стоял на самом берегу, а если смотреть по карте – то прямо в реке: Зуша сместилась здесь относительно карты. Немцы меня засекают, бьют по мне, берут по карте поправку, чтобы ударить по самому берегу, и попадают по макушке высотки на своем берегу. Вдобавок, у немцев были не гаубицы с навесной, гаубичной, траекторией, а пушки – с настильной, и стреляли они с закрытой позиции.

Рассказывая о действиях своего дивизиона, махины на сотню машин и полтысячи человек, Игорь Сергеевич часто говорит о нем в первом лице: «Я дал залп», «бьют по мне». Как не вспомнить капитана Тушина из «Войны и мира». Помните, под Шенграбеном: «Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра»…

На берегах Зуши события развиваются тем временем своим чередом.

Я лежу, наблюдаю. Рядом на бурке лежит Горбатов, читает книгу. Я из-за Горбатовской спины все в нее заглядываю: это был томик Есенина.

– Интересно? – спрашивает он.

– Да, конечно.

– На, бери. Я тебе дам, но только не насовсем.

Смотрим на противоположный склон. Видим, появилась колонна немецкой пехоты. Она двигалась к перекрестию двух проселочных дорог. Я прикинул время полета снарядов до перекрестия и нацелил дивизион на него. Немцы шли так угрожающе, такой плотной колонной, что наша пехота оробела.

Из блиндажа выскочил Петухов:

– Ты что? Спишь?! Пехота не выдержит!

Я дождался, когда голова колонны вступила на перекрестие дорог и скомандовал залп, рассчитывая, что за время полета туда втянется вся колонна. И так хорошо получилось! Так бывает один раз из ста. Залп точно лег по колонне. Всю ночь потом немцы вывозили раненых и убитых. Это был четырнадцатый залп. Горбатов смотрел в бинокль, все видел. Сказал:

– Ну, теперь я не жалею, что дал тебе книжку.

Немцы, наконец, поняли, где стоит дивизион. Стали ставить вилку и накрывать его. Я скомандовал по радио: «Уходить! Полный ход!» И восемь «фордов» на полной скорости рванули вверх по нашему склону, по улице деревни Нижняя Залегоща. Вижу, как номера расчетов цепляются за фермы установок, трясет

их страшно.

Немцы опешили: уходят, днем, на всем виду! Пытались достать, накрыть, но опаздывали с переносом прицела. Разрывы бежали метрах в ста пятидесяти за машинами. Продолжалось это минуты полторы-две, пока машины не скрылись от немцев за бугром.

Я бы на месте немца их не упустил. Надо было поставить с упреждением заградогонь, и машины бы в него уткнулись. Командир немецкой батареи с остервенением выдал последнюю, уже бесполезную, очередь снарядов по макушке гребня. Я его очень понимаю.

Горбатов наблюдал за всем, лежа на бурке. Когда машины скрылись, повернулся ко мне на локте:

– Ну, вот и ушли.

Тут и я пришел в себя. До этого ничего, кроме машин, не видел.

Вряд ли старший лейтенант Косов и генерал Горбатов в перерывах между залпами искали общих знакомых. А они были.

Перечисляя высокопоставленных соседей своего киевского детства, Игорь Сергеевич вспоминал про «дядю Костю Ушакова», героя Гражданской войны, лучшего командира дивизии Красной Армии, четырежды орденоносца. Проходя мимо пацанов, играющих во дворе в футбол или волейбол, легендарный комдив влетал в ребячий круг, лихо бил по мячу, подмигивал и шел дальше по своим взрослым делам.

Александр Васильевич Горбатов встретил его на Колыме. В своей книге «Годы и войны» он пишет: «Я нашел Костю Ушакова в канаве, которую он копал. Небольшого роста, худенький, он, обессиленный, сидел, склонив голову. Узнав, что я завтра уезжаю, он просил сказать там, в Москве, что он ни в чем не виноват и никогда не был „врагом народа“.

Снова крепко обнялись, поцеловались и расстались навсегда. Конечно, я добросовестно выполнил его просьбу, все передал, где было возможно. Но вскоре после нашей встречи он умер».

3

На Зуше я несколько обнаглел. Река внизу, метрах в пятидесяти. Я на НП раздевался до трусов. От ремня бинокля на шее появилась белая полосочка. Как затихнет, иду купаться на Зушу.

Раз ко мне на НП пришел командир полка Кулыгин. Я вскочил как был – в трусах. Ничего умнее придумать не мог, надел фуражку и взял под козырек.

– Ложись, ложись, одевайся. Я подожду, – сказал он.

Он – в траншее, я – наверху. Могли и подстрелить…

Здесь я лишился своей палки с набалдашником слоновой кости. Я все боялся ее отставить. Кулыгин, встретив меня как-то с палкой, сказал:

– Я старый человек. Отдай мне палку.

Пришлось отдать. На следующий день он привез ее и вернул мне со словами:

– Теперь я вижу, что ты можешь ходить и без палки.

Отлично питались. Я, когда еще был командиром батареи, развел овец, кур, гусей. В деревнях покупали огурцы, сметану, вишню. Курица стоила 25 рублей. Каждый день покупали сметану – ведерко в шесть с половиной литров из под технического масла. Садились пять офицеров: я, мой зам Наум Нудель, студент из Омска, комиссар Гамилка, командир взвода управления Ложкин, командир огневого взвода Донцов – и в один момент это ведро съедали. Гуся мы впятером могли слопать в один присест. Наголодались под Москвой.

Нудель любил печь оладьи. Пек сам, как только получали доппаек.

Повар дивизиона Василенко разводил спирт и делал настойку на вишне. Спирт мы покупали на местном спиртзаводе. Все его оборудование вывезли, а спирт в емкостях остался. Пока был спирт – при нем сидел директор. Он отпускал спирт по 57 копеек за литр. Василенко любил меня и начштаба Суконкина за то, что мы любили поесть. Не любил командира дивизиона Левченко и комиссара Федю Рыбалевского (погиб потом в Будапеште). Они ели кое-как, ковырялись.

Хороший был дивизион. Почти все с юга: ростовчане, из Горловки… Ахромеев, командир установки, – зав отделом ростовского обкома партии, помкомвзвода Сусленко – городской прокурор из Горловки. Ахромеев чудесно играл на балалайке, мог даже полонез Огинского.

Как– то сидели мы за столом. С нами был офицер из штаба фронтовой оперативной группы. Увидев Нуделя, он сказал:

– Да тут и евреи есть…

Я опрокинул на него стол. Пришлось потом объясняться…

– Были ли последствия? – Никаких. Меня вскоре после этого назначили командиром дивизиона.

Тридцать первого августа 94-го года я приехал из своего Любохова в Москву. Звоню Полине, жене Игоря Сергеевича. Она страшно обеспокоена: «Плохо. Игорь заболел. Высокая температура. Ложиться в больницу не хочет. Приходи со своими записками. Это его, может быть, взбодрит».

Я увидел Игоря Сергеевича полулежащим на диване. Из-под пледа торчат опухшие пальцы ног. Лицо опавшее, застывшее. Голос сел, стал бесплотным.

– Игорек, – вяло махнул он на свои ноги, – извините, что встречаю вас в таком виде. Устал…

В глазах отстраненность и безразличие. Как будто смотрит сквозь толщу воды. Полина мечется, пытаясь вытащить его в нашу жизнь. Я читаю летние обработки предотпускных записей. Уважая наши усилия, Игорь Сергеевич сел попрямее, уточняет детали… Дойдя до эпизода с Нуделем, я спросил:

– Игорь Сергеевич, кто это был?

Он устало и брезгливо мотнул головой:

– Не помню…

Зная его память, непогрешимую даже в эти последние дни, могу с уверенностью сказать: помнил. Понимая, что умирает, он не хотел об этом говорить.

Через полчаса я стал прощаться. Он опять прилег. Глаза смотрят сквозь меня. Нас уже разделяет бездна. Игорь Сергеевич умер через четыре дня, в ночь на пятое сентября 94-го года.

Я, слушатель и летописец Игоря Сергеевича, сам, как уже говорил, – родом из тверских карелов. Малый народ, малый даже по сравнению с евреями. Народ, знаменитый своим непрошибаемым упрямством. Прозвище «тверской козел», убежден, заработали мои автохтонные сородичи. Карелы по своей тугоумости и твердолобости не из тех, с кем ходят в разведку. Они рождены исполнять приказ «стоять насмерть». В нашу малую лихославльскую карельскую округу не вернулось с фронтов второй мировой свыше четырех тысяч мужиков.

Известен исторический анекдот: русские, уходя из Польши в 1915 году, забыли снять часового при лесном воинском складе. Его снял в 39-м году разводящий, который стал уже полковником Красной Армии. Этот стойкий солдат был карелом.

За пределами тверской губернии о карелах мало кто слыхал. В моем первом паспорте в графе «национальность» высоковская паспортистка написала «корей». Мальчишкой я был евреем – в Сибири, во время эвакуации, когда все эвакуированные считались

евреями. По жизни, по духу, так сказать, «менталитету», я, вероятно, русский.

Все вышесказанное в разговорах на национальные темы дает мне свободу суждений и право считать себя над схваткой, что, признаться, сильно раздражает и тех, и этих.

Я делю российско-еврейский этнос на две популяции. Первая, приполяченная, белорусская дала усыхающую местечковую ветвь. Вторая мощно расцвела в Таврии и южной Малороссии. Эта порода дала Менделей и Бенчиков, степных баронов – родителей Льва Давыдовича Троцкого и братьев Бурлюков. Она породила Зиновия Вальдмана из махновской контрразведки, о котором рассказывалось ранее.

Отец Игоря Сергеевича был из той могучей южно-российской еврейской ветви. Унтер-офицер первой мировой с четырьмя георгиевскими крестами и четырьмя георгиевскими медалями, красный подпольщик на Украине при немцах в 18-м году, красный комиссар у Махно, командир кавалерийского полка в дивизии Дыбенко, шесть тяжелых ранений и прочая, и прочая.

Мать Игоря Сергеевича вышла из древних дворянских родов Пашковых и Томилиных. Ему было откуда черпать свою жизненную силу и чувство независимости.

Генеалогическое древо – почти как у Нагибина. Но как противоестественны и неприложимы к Игорю Сергеевичу Нагибинские комплексы двоедушия и «недорусскости». Он был всегда сам собой: как думал – так и делал.

5

Спокойная жизнь на Брянском фронте кончилась 28 июня 42-го года, когда немцы нанесли свой удар на юге. Мы попали под левое крыло немецкого наступления, от нас начиналось их движение на Старый Оскол и Сталинград. У нас было не то, что южнее, здесь немцы почти не продвинулись. Мы были крайней с юга неподвижной точкой всего советско-германского фронта.

В оборонительных боях здесь, под Понырями, я побывал дважды: сначала 42-м году и во второй раз – в 43-м на Курской дуге.

Голо кругом. На Севере всегда хорошие огневые позиции, а наблюдательные пункты – плохие. Ищешь, ищешь откуда поглядеть. А на юге – наоборот: прекрасные НП – все видишь, но и дивизион весь на виду.

Раз я думал, мне – конец. Это было через несколько дней после начала немецкого наступления. Я исполнял обязанности командира дивизиона. Мы стали менять позицию. Там был длинный спуск к реке, брод и опять подъем. Все транспортные машины я уже отправил. Боевые стояли внизу у реки. Рядом какие-то конюшни. Вечерело.

Немецкие танки вышли на фоне заката на горб над нами, метрах в четырехстах. Их было танков двадцать. Почему-то остановились. Идти вброд нам никак нельзя – расстреляют. За конюшней – канава. Я загнал в канаву две машины передними колесами: направляющие встали, как на прямую наводку. Поочередно машины стали бить по горбу. Не так уж много вреда принесли, но там пошел такой тарарам, что немецкие танки ушли с горба. Уже стало темнеть. Мы рванули через реку и вверх. Немцы на виду больше не появлялись.

В этих боях мне пришлось покомандовать минометчиками. Приходит старшина: в 120-миллиметровой минометной батарее выбило всех офицеров, некому командовать.

– Дай таблицу стрельбы. Дай провод, – говорю ему.

Перевел их в балку: они стояли неудачно. Нас атаковала немецкая пехота. Поднимается их батальон. Я даю по уже пристрелянному рубежу серию по четыре мины на шесть стволов. Переношу на новый рубеж через пятьдесят метров. Даю еще двадцать четыре мины. Немцы выдерживали три рубежа, залегали и отползали назад. Минометчики были у меня дня три-четыре. Немцы атаковали слабо. Потом подошли наши танки, и немцы встали совсем.

6

В начале августа я исполнял обязанности командира нашего дивизиона, поскольку комдива Левченко поставили на место заболевшего начштаба полка.

Тут меня забирают на командование «509-м отдельным гвардейским минометным дивизионом Ставки Верховного Главнокомандования». Наш командир полка Кулыгин очень не хотел меня отпускать.

Отдельный – значит, над ним нет ни полка, ни бригады. Этот дивизион был только что сформирован, побывал лишь раз в бою, в котором погиб только один человек – командир дивизиона капитан Козырь. Его звали Игорь Сергеевич, как меня. Дивизион

занимал позиции, командир пошел назад подогнать подвозку снарядов. Налетели самолеты, и он погиб при бомбежке.

Шестнадцатого августа я приехал в Ефремов, где стоял штаб фронта, за направлением в дивизион. Меня уже ждал начальник связи моего будущего дивизиона Самарин. Но пришлось заночевать в Ефремове у начштаба 6-го гвардейского минометного полка Сашки Кочеланова.

Все в реактивной артиллерии – командиры взводов, дивизионов, полков – все были из 3-го Ленинградского артучилища. Все друг друга знали.

Выпили, конечно. Я сильно не выспался, а Сашка до трех часов ночи меня мытарил: «Посиди, ничего с тобой не будет». Я сижу верхом на стуле…

Сзади открывается дверь. Входит Черняховский. Шестой, Сашкин, полк был как раз в полосе 38-й армии, которой Черняховский командовал.

Я стал было изменять положение на стуле – он мне: «Сидите, сидите». Минут десять разговаривал по делу с Кочелановым. Тот, мужик толковый, очень четко все объяснял. Черняховский схватывал с полуслова.

У него удивительно живые глаза, и сам он очень легкий и подвижный. Ему было тридцать шесть лет, а казался молодым. Памятник ему в Воронеже тяжелый и неудачный.

Утром 17 августа Самарин привез меня в дивизион, как оказалось, на моей собственной машине «бентам» типа «виллиса».

Первое, что я увидел в дивизионе: стоит «шевроле», в кузове торчит солдат, насквозь в масле – и гимнастерка, и галифе.

Первые услышанные слова:

– Да как ты, – замполит допытывался у солдата, – сам-то не утонул?!

Я выскочил из машины, представился, поинтересовался, в чем дело.

Оказывается, ездили за продуктами, получили водку, бочку подсолнечного масла. Видно, поддали. Солдат заснул в железном кузове, а бочка текла. Солдат и поплыл.

Пришел в штаб дивизиона. Говорю начштаба Дидковскому: «Подготовьте приказ. Созовите командиров батарей». Ко мне подходит старший политрук, начальник особого отдела Петриченко:

– Солдата надо судить.

– А почему судить? Если судить – так бочку. Я в дивизионе первый день и не собираюсь начинать с того, что отдам человека под суд.

Петриченко на меня надулся.

У меня в кармане приказ о переходе в резерв фронта под Елец. А боеприпасов столько – за раз не поднять. Пришлось два раза гонять за сто пятьдесят километров. Восемнадцатого вечером, когда мы были на месте, в дивизионе оставалась бочка бензина – капля в море.

А мне тут же вручили приказ – двадцатого августа дивизиону прибыть в Москву, в резерв Главного Командования. Пока получали бензин, грузили часть боеприпасов в поезд, вышли только в восемь вечера девятнадцатого. Погнали без остановок. Прошли ночью Ефремов с опозданием против срока на двадцать часов. В три часа ночи около Тулы я остановил колонну, положил всех на обочину справа, шоферов – в кабины, и дивизион заснул на три часа. Как рассвело, пошли на Москву. В пять часов вечера двадцатого я был в Нижних Котлах и из первого автомата звонил дежурному в штаб формирования гвардейских минометных частей.

Дивизион встал на ночлег в Измайловском парке, а я поехал в штаб формирования. Он располагался в 440-й школе, по шоссе Энтузиастов. Оказалось, там служит Борис Карандеев, с которым мы были знакомы по Северо-Западному фронту. Я рассказывал, как он там отучал спать солдата.

Я принес водки – немецкую фляжку на 750 граммов, и мы распили ее с Борисом в школьном актовом зале, где у них стояли раскладушки.

На другой день меня должны были утверждать в должности в военном отделе ЦК. На ночь дали номер в «Москве», с ванной. Все мои офицеры перемылись в этой ванной. Назавтра меня утвердили в ЦК за полчаса и тут же направили на Волховский фронт.

Погрузились одним эшелоном два дивизиона – 512-й и мой 509-й. Я был начальником эшелона. Того «промасленного» солдата, Александра Ивановича Котова, комиссар рекомендовал мне в ординарцы. Это был мой Котяра. Уже в эшелоне он мне говорит:

– Как это выпить нечего?

– А что ты предлагаешь?

– А вы снимите свой «бентам».

– Снимай, – говорю.

Котяра с солдатами сняли машину с платформы посреди путей и укатили…

Нас уже вытянули на Бескудниково, а их все нет. Я начал волноваться, пошел было к коменданту. Тут на железнодорожные пути вылетает мой «бентам», с двумя ящиками водки. Котяра до войны был и после войны остался директором комиссионного

магазина. Вот он и слетал по старым знакомствам.

8

28 августа прибыли на Волховский фронт. Остановились ночью на станции Войбокало. Я должен был явиться к коменданту станции. Не пошел. Он прибегает, разъяренный:

– Я вас разгружу!

– Я тебе разгружу!…

Покричали, покричали – поехали дальше. Уже засветло втянулись на станцию Жихарево, разгружаемся. Над нами висит немецкий разведчик Ме-110.

Позже вызывает меня как-то начальник оперативной группы гвардейских минометных частей Павел Николаевич Кулешов, потом стал маршалом артиллерии. Я с ним был знаком по Северо-Западному и Калининскому фронтам. Очень приятный, милый человек. Спрашивает:

– Ты зачем себя называешь по рации фамилией, а не цифрой?

– А кому нужна моя фамилия?

Не скажи, – и достает перевод немецкой справки. Перечень частей:…509-й дивизион, командир дивизиона Косов Игорь Сергеевич, домашний адрес: Киев, Красноармейская ул., 30-14, разгрузился на станции Жихарево 28 августа.

Кулешов говорит:

– Ты знаешь, это из твоего личного дела в Москве.

(Вообще– то, наша киевская квартира должна бы быть тринадцатой. Но в Киеве в старых домах начисто нет тринадцатых номеров. На нашем этаже шли №12, №14,…)

Не успели разгрузиться, появляется какой-то майор:

– Немедленно в штаб артиллерии фронта.

Там я понял, что предстоящая операция будет кровавой.

11– я немецкая армия Манштейна после взятия Крыма готовилась штурмовать Ленинград. Наступление планировалось на первое сентября. Девять дивизий первого эшелона, одиннадцать – во втором. Второй – для боев в самом городе. Дивизии полнокровные, к уличным боям их готовили в Кенигсберге. Много было авиации. Глядишь, Ленинграду и Балтийскому флоту был бы конец.

Нам была поставлена задача – повернуть их на себя. Мы начали эту, Синявинскую, операцию 28 августа. Имели успех, прошли километров пять, угрожали снять блокаду. Толщина

немецкого блокадного кольца вокруг Ленинграда была здесь двенадцать с половиной километров. Немцы это место звали «Flaschenglass» – горлышко от бутылки.

Три дня немцы крепились, чтобы не поворачивать силы от Ленинграда. На третий день повернули и так ударили по нам!

Нас там тоже подтянули – будь здоров! Много артиллерии. Только «катюш» – двадцать восемь дивизионов. Две ударных армии – восьмая и вторая. Вторая была сформирована заново, после того как ее остатки, тысяч тридцать, вышли под Мясным Бором из «власовского» окружения. Это была хорошая пехота, из тихоокеанских моряков. Я такой великолепной пехоты не видал за всю войну. Она почти вся там и полегла. Когда началось наступление, 265-я дивизия вошла в бой. Утром в ней было двенадцать тысяч, вечером – полтысячи. За всю войну я не видел столько раненых. Лес, болота – тут всегда много жертв.

Синявинская операция шла примерно до 20 октября. К ее концу все вернулось на исходные позиции, но на Ленинград немцы уже не пошли.

9

Сперва я с дивизионом намучился: не обстрелян совсем. Был только один раз в бою, потерял командира. Конечно, это их деморализовало. Я наверху – они наверху, я в блиндаж – и они прячутся.

В начале сентября мы стояли под станцией Назия. Третьего сентября я поехал к своему начальству, П. Н. Кулешову. Не доехал полкилометра – появилось, как наваждение, неприятное чувство: надо повернуть обратно. Повернул. По дороге – переезд через насыпь железной дороги на станции Жихарево. На станции горит эшелон с боеприпасами. Снаряды рвутся наверху, на насыпи. Над головой летят ошметки вагонов. Я за рулем. Шофер забился мне под коленки. Подкатываю к переезду – на нем разрыв, и я сквозь разрыв проскакиваю на ту сторону. Еще метров за двести от дивизиона вижу, что там черт знает что творится. Паника. Машины дивизиона выползают из аппарелей и собираются удирать. Только что был мощнейший артналет. Все растерялись, ничего не видят, не слышат. Командиры батарей – зеленые, комиссар дивизиона, который был комиссаром артбатареи еще в Гражданскую войну, совершенно потерялся.

Выскакиваю:

– Машины назад! Людей в ровики!

Меня не слышат. Комиссар сидит на ровике, схватившись за голову. Я ему:

– Говнюк! Чтоб тебя духу не было!

И жахнул из маузера поверх голов:

– Командиры батарей, ко мне!

Услышали. Машины загнали в аппарели, людей по ровикам. Тут немцы накрыли нас новым мощным артналетом. Било не менее полка. К счастью, никто не пострадал. Сразу после налета я вывел машины лесом на другое место. Понял, что где-то здесь смотрит немецкий разведчик, и дорогой уходить нельзя. Немцы сразу же за этим ударили по соседнему дивизиону.

Как раз в этот день, 3 сентября, был мой день рождения. Исполнился двадцать один год. Я собрал приятелей. Были командир соседнего дивизиона Гриша Грузин, командир зенитного полка майор Джорджадзе и другие. Джорджадзе сейчас генерал-лейтенант, академик Грузинской академии. С утра Котяра меня спрашивает:

– Что бы Вам подарить на день рождения?

– Саня, – говорю, – свари нам борща.

Мы там ели одних бычков в томате. Пока Саня варил, был такой артналет, что мы потом в борще нашли осколок. В домике, где я жил, не было ничего, кроме шкафа. Шкаф положили на бок вместо стола, расселись кто на чем: на канистрах, чурбаках. Саня притащил ведерный чугун с борщом. Выпили, – и тут Котяра кричит:

– Пятнадцать штук летит!

Те сыпанули на нас. Гриша Грузин, большой любитель выпить, схватил бутылки, поставил на пол:

– Побьют ведь!

Схватил чугун:

– Горячий, сволочь!

А вокруг все летит и рвется. Когда немцы улетели, мы с таким удовольствием поели борща. В тот налет трахнули мой «бентам» – только колеса полетели. Гриша спрашивает:

– А водка там была?

– Была, – отвечаю, – литр.

– Жалко.

Немцы повернули на нас всю авиацию, нацеленную сначала на Ленинград. Как же нас лупасили! Целый день бомбежка, самолеты висели над нами непрерывно.

Сижу раз под Троицком на блиндаже. Жарко. Надо мной разворачивается Лагг. Еле летит, мотор с перебоями, висят какие-то ошметки. За ним два «мессера». Как в тире, по очереди заходят

и расстреливают. Рядом под церквушкой стояла наша зенитная батарея. Они как раз обедали. Вдруг оттуда одиночный выстрел. Пук!! И 85-миллиметровый снаряд попал прямо в центроплан одного «мессера». У того – раз, крылья сложились и отлетели. Не видел бы – не поверил. Второй «мессер» повернул, дал с перепугу такой с дымом форсаж и рванул. Наш истребитель сел на поле, рядом, на нем живого места нет. Удивительно, что не загорелся. Вытащили оттуда летчика. Живой, белобрысый, мордастый.

А то я видел – нашего Лагга лупит «мессер». Наш сел на поле перед лесом. Повезло, там были пеньки. Попал бы на них – остались бы только клочья. А «мессер» не выскочил из пике и попал в верхушки елей. Разлетелся буквально на мелкие кусочки. Наш летчик выскочил из кабины и погрозил кулаком.

– Раньше, там, надо было пугать, – говорю я ему.

Под Назией, рядом стояла 37-миллиметровая зенитная батарея.

Командовал ею лейтенантик лет двадцати. (*Напомню, что Игорю Косову самому – двадцать один год и он – старший лейтенант*) . Рядовые – лет по восемнадцати, сущие пацаны. Бегали друг за другом, играли в чехарду. Но стреляли бесподобно. Каждый день сбивали по самолету, хотя у них всего-то на тысячу метров дальность эффективного огня. Насолили немцам здорово. Те однажды и навалились на них. Пикировало штук пятнадцать. А наши ребята ни на секунду не прекращали огня. Боеприпасов не жалели. Сбили пять штук! И хоть бы одна бомба упала рядом. Немцы с мандража кидали бомбы метров за триста-четыреста от них.

Сначала под Назию пришел мой дивизион, а потом эти зенитчики. Очень долго колупались на позиции, лейтенант заставлял их зарываться, а солдаты – мальчишки гоняются друг за другом. Заставлять пришлось до первой бомбежки. После нее зарылись с головой – только стволы торчали.

10

На Волховском фронте у меня накопился громадный опыт работы с пехотой. Дивизион был отдельный, и я работал исключительно по заявкам пехоты. То для 265-й дивизии, то 115-й, то для бригады морской пехоты, где служил, как пишут, А.Н. Яковлев, будущий академик и член Политбюро.

Дают, положим, задание: подавить узел сопротивления.

Размером – много с полкилометра. Например, цель «Роща Круглая» была метров триста. Немцы ее оборудовали, черт знает как. В этой роще были сосны в обхват, после нас остались одни пеньки. Выдвинется дивизион, даешь залп – над тобой столб пыли поднимается метров на сто. Тут же надо удирать. Каждый залп – с заранее подготовленной позиции. Иной раз мы стреляли дважды с одного места. Обычно обходилось: немцы не ждали повторных залпов. Но иногда они нас и прихватывали, если сразу засекали второй залп.

Дивизион стреляет только по площади. Залповый огонь никогда не бывает точным. Как повезет, как попадешь. В наступлении самое главное – отрабатывать переносы огня. Особенно у нас, при нашем рассеянии. Сначала делаешь налет по переднему краю, потом – залповая стрельба по целям, потом, перед тем как вставать нашей пехоте, – опять налет, чтобы загнать немецкую пехоту в убежище. Хорошая пехота, хотя и трепаная, идет за разрывами метрах в двухстах.

Один наш разрыв – с двухэтажный дом, воронка – метра два глубиной и пять-шесть в диаметре. И когда во время артподготовки кладешь пятнадцать-двадцать снарядов на гектар, пехота пошла – навстречу выстрела нет.

А у меня раз пехота не поднялась.

Особисты доложили, что я накрыл своих, а, де, артиллерийское начальство это прикрыло. Я как раз тогда опасался попасть по своим и потребовал от начальника артиллерии 265-й дивизии Деркача подписать карту. Тот дал мне передний край и координаты цели. Я увидел, что при нашем сильном рассеянии почти накрываю своих. Перенес установки на двести метров вперед. Шарах! А пехота не поднялась…

Приехала комиссия. Со мной все ясно: где стояли мои установки – дырки от огня, вынесенные на двести метров вперед по сравнению с картой. Составили акт: по своим не стрелял. Я приехал к следователю. Капитан, военюрист 3-го ранга. Сижу у него в палатке, на ящике, нога за ногу. Акт у меня в кармане. Он на меня:

– Как Вы сидите перед следователем?!

А я ему:

– Пошел ты… Будешь командовать, как мне сидеть.

Повернулся и ушел.

А тут как раз наложилось: мой солдат Файзуллин украл мешок капусты. Не для себя, конечно. Я пошел к прокурору, военюристу

1– го ранга. Вопрошаю:

– Почему я должен стоять перед ним навытяжку? И санкцию

на Файзуллина не дам!

Прокурор говорит:

– Пиши характеристику на солдата.

Вызывает моего следователя:

– В следующий раз, когда Косов тебе понадобится, поедешь к нему на передовую.

Я написал Файзуллину самую лучшую характеристику. На его «Деле» прокурор написал: «Дело прекратить».

Кончилось так. Собрался я, спустя некоторое время, в штаб армии. Прибегает старший лейтенант Петриченко, мой оперуполномоченный, – тот, кто накапал на меня:

– Товарищ капитан (мне присвоили звание капитана 27 сентября), захватите меня.

Прибыв в штаб, я отправился к своему начальству, а Петриченко – к своему. Окончив дела, прихожу к машине. Вижу – бежит Петриченко:

– Товарищ капитан, вас просит полковник, начальник особого отдела фронта.

«Ничего себе», – думаю. Иду. Полковник спрашивает:

– Скажите, капитан, какие у вас претензии к оперуполномоченному?

Я при Петриченке отвечаю:

– Пусть на меня не пишет доносы.

– Откуда вы знаете?

– Я видел.

– Откуда вы видели?

– Когда был у следователя, видел на ящике.

Процитировал полковнику кусочки. Похоже, он с трудом удерживался от смеха.

– И все-таки вы это зря, – мягко сказал он мне, – идите к машине. А вы, – обратился он к Петриченко, – задержитесь.

Я ушел. Спустя малое время бежит Петриченко, малинового цвета.

Вы извините, – говорит мне, – у нас все будет в порядке.

В сентябре под Синявиным у меня не хватило возраста и мудрости. Хорошая погода. Я нацелился на рощицу от меня километрах в двух. Видел, как туда сначала зашли танки, а потом прошли бензовозы. Тут вызывает по телефону начштаба артиллерии армии полковник Солодовников:

– Товарищ Косов, вам другая цель. Огонь открыть через десять минут.

А я со своего места по новой цели не достаю. Надо переезжать. За десять минут не успею. Я стал было возражать, но он так на меня насыпался… Я только сказал:

– Слушаюсь, – и положил трубку.

Комиссар спрашивает:

– Что будешь делать?

– Стрелять по старой цели.

Ты что, с ума сошел?

Он сидит за пять километров и видит, как свинья небо.

Это был тот самый комиссар, что потерялся тогда под Жихаревым. Вообще-то, он был неплохой мужик, не склочный.

Я подождал десять минут. Скомандовал…Залп… У немцев в роще начался такой тарарам: горит, взрывается. Солодовникову, видать, доложили с передовой. Звонит:

– Ну, вот видишь, как все здорово вышло!

Я ему возьми, да ляпни:

– Так я стрелял по старой цели, товарищ полковник.

Такой тут пошел фонтан!

Дня через два вызывает меня начальник артиллерии армии генерал Безрук. Для начала сильно выругал. Потом спрашивает:

– Объясни, в чем дело?

Я объяснил с картой.

Безрук ворчит:

– Вот ведь он какой дурак… А почему скандал?

– Я ему сказал, что стрелял по старой цели.

– А теперь ты дурак. Надо было промолчать. Сейчас бы дырочку вертел.

Хитрый такой был хохол.

Попадал в переплеты и похлеще. Раз немцы очень удачно ударили и отсекли меня от дивизиона. Я сидел на наблюдательном пункте со взводом управления, человек пятьдесят-шестьдесят. Танки прошли над нами. У меня уже был опыт окружений по 41-му году. Мы выбирались по болоту. Жижа – по горло. Болото заросло кустами и тростником. Немцы перекликались через наши головы с островков, а мы пробирались между ними. Перебили бы, как котят, если бы обнаружили. Часа через два-три вышли. Надо было нас видеть! Сухими были только документы и курево в фуражках.

Было там узкое дефиле. С одной стороны – насыпь железной дороги, за ней болото, по другую сторону – опять болото. По этому дефиле шла немецкая танковая дивизия, танков примерно сто пятьдесят. По ним стреляли двадцать четыре дивизиона. Дали по одному залпу восемь, восемь и восемь дивизионов. В каждом дивизионе восемнадцать установок. Залпы накрывали друг друга. Прорвалось сквозь дефиле четырнадцать танков. С перепугу они влетели в болото, завязли и сдались.

Эта книга – не военно-историческое исследование, а живая

запись современников событий. Тем она и интересна. Интересна, несмотря на возможные несогласования рассказов со строгими архивными данными.

Тут мы соприкасаемся с изустной историей, с легендой.

Я не нашел в своей военно-мемуарной библиотеке упоминаний о только что рассказанном эпизоде, пожалуй что, оперативной значимости.

Обратил внимание, что в записи здесь ни разу не встречаются слова «я видел», «мой дивизион». Уточнить у самого Игоря Сергеевича не успел…

Поэтому мне думается, что П. Вершигора, который требовал от своих разведчиков отчетности по графам: «сам видел», «думаю», «хлопцы говорят», получил бы донесение об этом случае по третьей графе.

Я не любил сидеть в блиндаже во время обстрела. Приятней было чувствовать себя в траншее, особенно после того, как меня заваливало.

Впереди Жихарева, на Синявинских высотах, был у меня блиндажик. Паршивенький, стены из плетня, потолок – накат в одно тонкое бревно. Меня позвал в блиндаж телефонист. Только я зашел – в угол ударила мина. Потолок рухнул. Нас быстро откопали. Телефониста я подмял под себя. Он остался жив. Мне ободрало лоб и спину. От гимнастерки остался один воротничок. Целый день, пока не привезли новую гимнастерку, я ходил в плаще. В нем было жарко и душно.

На Волховском фронте, километрах в двенадцати от Невы, был на болоте сухой остров. Мы его звали «остров Рудольфа»: у всех на слуху были предвоенные арктические экспедиции. В октябре 42-го я с разведчиками шел по болоту к этому острову. Идем, как по матрацу. И тут из-за гребня острова выходит примерно рота немцев и стала спускаться к болоту. Естественно, и мы, и они залегли. Мы – прямо в воду за кочки. Они, идиоты, – на песчаном склоне, обращенном к нам. Как на ладони, метрах в ста пятидесяти. Мы их били на выбор. Я очень точно стрелял по ним из маузера, который подарил мне Ротмистров под Калинином. Прицелишься – раз! И он только дернется.

Игорь Сергеевич выкинул вперед руку – ладонью вверх, с двумя выставленными пальцами. Скрючил пальцы в мгновенной судороге, и я почти физически ощутил, как пуля Ротмистровского маузера пронизывает по всей длине тело лежащего человека.

Мы обнаглели. Котяра, мой ординарец, раскурил папиросу, дал мне:

– Покурите, капитуся.

Так он меня звал. Я то курну, то выстрелю. Немцы уползли за

бугор, а мы по болоту вернулись обратно. В первый раз за войну я простудился.

Той же осенью я приезжал к генералу Калашникову, командующему артиллерией 2-й армии. Ну, лев был! Там же были Зубков, член Военного совета у Кулешова и капитан Бакай.

Когда стали выходить от Калашникова из блиндажа, шли так: Бакай, я, Зубков. И тут – шарах! Неподалеку рвется двухсотдесятимиллиметровый снаряд.

– Товарищ полковник, может быть, переждем?

Повернули к блиндажу. Опять свист. Зубков успел вскочить в блиндаж, дверь за ним захлопнулась. И снаряд в двести десять миллиметров вошел в дальний от нас скат блиндажа. Дверь вырвало, она ударила меня. Сшибла. Я – на Бакая, сшиб его. Мы с ним остались живы, а Зубкову снесло полчерепа.

Вместе с Калашниковым они похоронены в Старой Ладоге.

От этого удара через несколько месяцев у меня получились спайки радужной оболочки. Зрачок стал зубчатым. Света не выносил, боль ужасная, будто клещами выворачивают глазницу. Кулешов, когда увидел такое, послал меня в госпиталь к знаменитости – ленинградскому профессору-окулисту Нечволодову. Он осмотрел меня:

– Молодой человек, вы что, хотите остаться слепым?

Хотел положить меня в госпиталь, но поскольку мои тылы были от госпиталя в пяти километрах, разрешил жить у себя, в дивизионе, при условии, что меня будут привозить к нему два раза в день со скоростью десять километров в час. Закапывали атропин для разрыва спаек. От этого я дней двадцать ничего не видел. Потом прошло.

11

После Синявинской операции до конца года шли тяжелые местные бои. Жуткие потери. Оправдание этих потерь: вести себя активно, удерживать немецкие части от переброса на Ленинград и под Сталинград. Манштейна от нас потом кинули под Сталинград на командование деблокирующей группировкой «Дон», но – одного.

Уже спустя много лет, когда я работал в издательстве «Наука» и редактировал книгу маршала Еременко, я спросил его:

– Могли немцы тогда деблокировать Сталинград?

– Могли, конечно. Но потом, когда Манштейна отбросили,

можно было действовать по другому. Сталину приспичило уничтожить окруженную группировку. А они там кончились бы сами. Если бы часть войск со Сталинграда бросить на Ростов и запереть Клейста на Кавказе, то весь бы южный фланг немцев рухнул, им нечем было бы занимать Миусский фронт, и война кончилась бы на год раньше.

Двенадцатого января 43-го года началась операция по деблокаде Ленинграда. В эту зиму снег был такой, что болото не промерзало. Мы загодя чистили дороги и площадки. За сутки они промерзали, как асфальт. Но когда стреляешь, от огня все тает и летит такая грязюка!

Тут случилась у меня скандальная история. Я был командиром дивизиона, а мне поручили временно командовать четырьмя дивизионами. Приказали передать в соседнюю дивизию дивизион М-тринадцатых. Им командовал Ильин, однокашник по училищу, на год моложе. Ему указали цель. Он забоялся, что попадет по своим. Потребовал, чтобы координаты дали за подписью. Дали. Он отстрелялся и попал-таки по своим. Формально командовал Ильиным я. Меня вызвал командующий фронтом Мерецков и стал разносить. Бешеный был мужик. Я тоже разозлился. Он мне десять слов, я ему – двадцать. Начал было объясняться…

А с начальством надо поступать так: молчать, пока не накричится. Потом оно обязательно спросит, а как было на самом деле? Как в случае с рощей и генералом Безруком.

С Мерецковым было что-то страшное. Он совсем взбесился:

– Отстраняю от командования – и в штрафной батальон!

Все обалдели. Я разозлился, уехал в тыл. Решил зайцев погонять. У меня в дивизионе было две борзых и две лошади. Но настроения нет. Сижу в избе. Вдруг приезжает Кулешов, тогда генерал-майор. Спрашивает:

– Позавтракать дадут?

Поели. Он выпивал очень мало. Обращается ко мне:

– Ты что тут сидишь?

– Да вот, отстранили и в штрафной батальон…

– Какой еще штрафной батальон. Уже помиловали. Поезжай к себе.

Узнав про эту историю, он, оказывается, съездил к Мерецкову и все объяснил.

– Откуда зайцы, лошади, борзые?

На борзых наткнулся майор Грузин, командир соседнего 512-го дивизиона. У одного местного жителя было четыре собаки, и майор купил их, себе и мне по паре, когда жителей отселяли от фронта. Лошадей добыть совсем нехитро: едешь в депо конского состава, выпьешь…

Там, на Волховском фронте, был такой порядок: месяц воюешь – месяц отдыхаешь. И мы с майором на отдыхе гоняли зайцев. Страшно азартное дело. Но едва не кончилось печально. Как-то лошадь майора споткнулась на скаку – и нет моего майора. Лошадь есть – майора нет. Ищу. В одном ровике из снега торчит валенок. Вытащил Грузина: живой, но обалделый, и вся морда об снег ободрана. Дня три после этого не гоняли.

Майор был большой франт. Чуть куда – начищает на кухне сапоги, на руки надевает лайковые перчатки. Я над ним смеялся: «Гриша, ты зря чистишь – грязь выше ушей». Идем мы с ним как-то мимо батареи стосемимиллиметровых пушек, а тут – налет немецких пикировщиков. И мы с майором полегли прямо в грязь, в самые колеи. Оба в чищеных сапогах, а он еще – и в лайковых перчатках.

Об истории со штрафным батальоном Мерецков вспомнил еще раз. Дело было так.

В 265– й дивизии где-то через месяц после истории с Ильиным трофейнули немецкий шестиствольный миномет. В этой дивизии я пользовался неограниченным доверием. Командир 265-й полковник Ушинский ко мне удивительно хорошо относился. У него воевал сын моих лет.

Я звонил Ушинскому:

– Здрасьте, это я, Косов.

– Ты где?

– Здесь.

– Немедленно ко мне.

Напоит, накормит… Начштаба у него Зиновьев был фаталист храбрости исключительной, матерщинник бесподобный. Меня приветствовал так: «А, джаз-банд приехал!» и звал меня «аллюр три креста».

Узнав про миномет, звоню:

– Ребята, отдайте мне. Зачем он вам?

– Тогда забирай и снаряды, своей машиной.

Послал машину. Загрузили полную снарядов, прицепили на крюк миномет. Раз – поехали.

Освоил, пострелял…

Когда об этом узнали в штабе фронта, меня заставили

демонстрировать эту немецкую технику на курсах командиров дивизии. Показывали наши М-13-е, а я – немецкий миномет. На стрельбы приехал Мерецков и член Военного совета Мехлис. Мерецков увидел меня:

– Ну что – напугался, когда я тебя ругал?

– Хорошенькое дело, если тебя пугают штрафбатом…

Мехлис вмешался:

– Ты его зря ругаешь. Он же хороший парень. Не трогай его.

Мехлис меня выделял. Раз на концерте Утесова посадил рядом с собой на первый ряд. Обнял за плечи. Народ вытаращился.

Как– то он проводил совещание по боеприпасам:

– Артиллеристы не знают, сколько у них боеприпасов к стрелковому оружию!

И ткнул в меня пальцем:

– Вот у тебя сколько патронов?

Я ему с потолка какую-то цифру – шарах! А у него, видать, заранее были приготовлены сведенья:

– Вот ты не знаешь, куда тысяча патронов девались!

– Да, господи, зайцев стреляли…

Как он мне всыпет за этих зайцев. Я стою навытяжку, а Ушинский давится со смеху и щиплет меня под столом за ногу, чтоб молчал. Стою – молчу.

Я раз сильно схулиганил. Мне было приказано вести по ночам беспокоящий залповый огонь из блуждающих установок. Я же вывел все свои двенадцать машин и дал практически одновременный залп из всех разом. Разумеется, по целям. Немцы страшно переполошились, открыли ужасный огонь. Наши ответили, и пошел тарарам до самого утра. А мы сразу же смылись спать.

Утром меня вызывают к командующему артиллерией фронта:

– Это ты там развел всю эту кутерьму?

Делаю голубые глаза:

– Товарищ генерал, выполнял приказание.

Мерецков, узнав об этом, сказал:

– Ну, это Косов опять хулиганит. Оставьте его в покое.

Мерецков ко мне хорошо относился. Я как-то быстро попал ему на глаза уже в октябре 42-го года. Был молодой парень, а уже капитанскую шпалу носил.

Мерецков был ужасно вспыльчивый человек, но кончалось это ничем. Он хорошо понимал, кто чего стоит.

Ехал я как-то по дороге. Подъезжаю к КПП. Меня останавливают. Прошу:

– Девочки, пропустите. Лишних тридцать километров…

Они, дуры, – на меня винтовки наставили. Я разозлился, схватился за наган. Девки – по кустам. Я поднял шлагбаум и поехал, куда надо. Про эту историю настучали Мерецкову: «Косов КПП разогнал». Могли и судить. А Мерецков расхохотался:

– Вы что, Косова не знаете? Хулиганит мальчишка.

И пошел, смеясь.

Тому, кто на меня накапал, я много лет спустя напомнил, когда он принес ко мне в редакцию ерундовую статью:

– Это, Жора, тебе не командующему стучать.

Позже мы с майором Грузиным попались Мерецкову пьяными. Майор крепко любил выпить. Мы пообедали. Так надрались… А мне только что в рембате восстановили английскую легковую машину «грехэм». Майор спрашивает:

– Это твоя машина?

– Моя. Едем!

Там вся тыловая жизнь проходила на высоковольтной линии. Мы выскочили на нее. Вдруг видим – сзади «форд-8». Такая машина была только у командующего фронтом. Я попытался удрать. Он догнал нас и встал поперек дороги. Мы вылезли из машины. Майор прислонился к крылу, я держался за дверцу.

Мерецков вышел из своей машины, внимательно посмотрел:

– Сейчас же домой!

И стоял, смотрел, как мы развернулись и поехали.

У меня сжимается горло, когда я перечитываю это «стоял и смотрел». Ведь прошло чуть больше года со страшного излома жизни командующего фронтом.

В конце июня 41 года, через несколько дней после начала войны, Кирилл Афанасьевич Мерецков в ранге заместителя наркома обороны был арестован НКВД. Вместе с ним по обвинению в «военном заговоре» были взяты нарком вооружения Б.Л.Ванников, помощник начальника генерального штаба, дважды Герой Советского Союза Я.В.Смушкевич, заместитель наркома обороны, Герой Советского Союза П.В.Рычагов, заместитель наркома обороны, командующий Прибалтийским военным округом А.Д.Локтионов и многие-многие другие крупные военачальники и руководители оборонной промышленности. Два месяца беспощадными истязаниями из них выдавливали «признания». Признались все, кроме Локтионова.

В сентябре 41-го Мерецков, Ванников и еще полтора десятка арестованных со столь же цепенящей непредсказуемостью были возвращены к жизни. Остальные – расстреляны без завершения следствия.

Не в этой ли истории объяснение неуставной снисходительности командующего фронтом к своим беспечальным

подчиненным? А может дело в самом Игоре Косове?

В воспоминаниях Игоря Сергеевича о крупных военачальниках то и дело мелькают фразы «он меня любил», «он ко мне хорошо относился».

Что могло сдвигать неизмеримую дистанцию между молодым офицером и генералом? Думаю, это объяснимо.

Игорь Сергеевич служил в «катюшах» – элитных воинских частях. Боевые задачи перед ними ставило начальство очень высокого ранга. Несомненно, это начальство с уважительностью относилось к зарождающемуся грозному роду войск и новым профессионалам, мальчишкам-громовержцам.

Игорь Косов вырос в семье военного. Военная среда была ему родной, и он с детства не робел высоких чинов. Лейтенант, потом капитан, Косов имел репутацию храброго и толкового офицера. Он был умен, интересен, легок и удачлив. Держался независимо до дерзости.

И он был так молод. Генералам, с которыми сводила его война, он годился в сыновья. Вспоминая сорок первый-сорок второй годы, Игорь Сергеевич часто удивляется: «Я был еще такой мальчишка». После Волховского фронта и Курской дуги, когда он стал матерым воякой, «пьющим водку», ремарки подобного рода у него уже не встречаются.

13

18 января 43-го года мы соединились с 67-й армией Ленинградского фронта. Пробили в кольце коридор в двенадцать километров шириной. Провели в нем железную дорогу. Поезда идут, вся колея дышит – такая почва. Когда шел поезд, наша артиллерия била по немецким батареям: прикрывала проход.

Мы пытались все время расширить коридор, взять Синявино. Раз даже его и брали, но немцы нас опять выбили. Колупались и пыжились весь февраль.

В конце февраля в одну из таких попыток мы пробовали взять деревню Вороново. (Здесь блокада и была окончательно прорвана в январе 44-го.) Мой дивизион был придан 374-й дивизии. Начальником артиллерии в ней был Бравоживотовский. За один день мой дивизион и артиллерия дивизии ухлопали уйму снарядов, и не продвинулись ни на сантиметр.

На наше несчастье, появился Николай Дмитриевич Яковлев, будущий маршал артиллерии. Стал вызывать к себе всех,

причастных к этой неудаче, и по очереди разносить. Дошла очередь до меня. Вошел, представился. Яковлев стоит – голова под крышу блиндажа. Обращается ко мне:

– Куда стрелял? Ну и что?

Отвечаю:

– Стрелял по Воронову. «Ну и что» – не знаю: я там не был.

– Тебе повезло, что там немцы, – махнул он рукой.

Тем все быстро и кончилось, ко всеобщему удивлению. Отделался легким испугом.

У моего приятеля Михаила Флейдера, мы его звали Муся, дважды случались с Яковлевым анекдотические истории.

Яковлев перед войной был начальником артиллерии Киевского военного округа. Муська учился в артучилище. Пошли курсанты в цирк. Там Муська обнял одного из приятелей за плечи и только начал: «Костенька…» – как слышит сзади: «Курсант, вы не умеете вести себя в общественном месте». Обернулся – Яковлев. Настроение сразу испортилось: надо докладывать командиру о взыскании. Товарищи говорят: «Поди, спроси у Яковлева».

Подходит в антракте:

– Товарищ генерал, прикажете доложить о взыскании?

– А как полагается?

– Полагается докладывать…

– А ты не докладывай.

Кончает Муська в сорок первом. Выпускной вечер. Закуска! Но на столе у курсантов только ситро и лимонад. А у начальства – коньяк.

Ребята принесли водки, закрасили лимонадом… И вдруг от начальственного стола к ним направляется Яковлев. Ребята – фью, разлетелись. Муська остался один за столом, перед ним четыре стакана. Яковлев подошел, поздравил с окончанием. Взял стакан, чокнулся, выпил:

– Крепкий же у вас лимонад. А ты что не пьешь?

Закусил и вернулся к своему столу.

Муська прошел от начала до конца всю войну. Ушел в отставку полковником. Умер несколько лет назад. У меня в Киеве никого уже из друзей детства не осталось.

14

На Волхове я познакомился с хирургом Александром

Александровичем Вишневским. Это был очень милый человек. Его папа, знаменитый академик Вишневский, решил, что из сына-лоботряса ничего не выйдет и устроил его в армию военным врачом. Вишневский любил выпить. Раз приехал ко мне в дивизион, отужинали. Звонит на другой день:

– Спасибо, что бренные останки профессора Вишневского положили в машину.

Одно время командующим артиллерией фронта был генерал Таранович. Вызывает он меня к себе. Приехал, не успел зайти – подъезжает Вишневский. Увидел меня:

– Хочешь, я сейчас поставлю раком генерала?

– Я Вас не понимаю…

– Его ранили в задницу. Иди вперед, а то потом тебя не пустят.

Я зашел. Таранович стоит столбом: не может сидеть. Сразу за мной входит Вишневский:

– Говорят, тебя ранили в жопу? Ложись!

И тут такие пошли комментарии…

Вишневский дружил с Кулешовым. Как-то сидят они вместе. А к Кулешову только что членом Военного совета вместо Зубова был назначен Зубков. Вишневский обращается к Кулешову:

– Павел, кого к тебе назначили вместо Зубова?

– Зубкова.

– Ну, ты, Павел, измельчал…

В январе, когда мы прорывали блокаду, Кулешов был у меня на наблюдательном пункте на высотке. Стали уходить на обратный скат. Траншея – по голень. Как шарахнет мина! Комиссару оторвало мочку уха. Мне ударило комом мерзлой земли по виску. Синячище был! А Кулешову – осколок в живот. Я его в охапку, привез в госпиталь к Вишневскому.

Палатка. В ней плюс тридцать: в четырех углах печки из железных бочек.

Спрашиваю у Вишневского:

– Уезжать?

– Подожди, всякое может быть. Посмотришь, как мы оперируем. Сейчас взрежем.

Этого «взрежем» я не стерпел, хотя видел всякое. Вывалился наружу.

– Ну, и ступай, дурак, на мороз, – услышал вдогонку.

Я простоял на морозе с двенадцати ночи до семи утра. Замерз жутко, хоть и был в инкубаторных штанах и в шубе. В семь утра выходит Вишневский. Лысый, весь в поту, в расстегнутом халате.

– Я твоему начальнику вырезал кусок кишки и вставил кусок водопроводной. А ты что стоишь?

– Вы же сами мне сказали не уходить.

– Дурак, ты ж весь синий. Пойдем к начальнику госпиталя.

Пришли.

– Налейте этому синему стакан спирту.

Я выпил. Он тоже. Потом еще раз. Вижу – надо уносить ноги…

15

В марте 43-го мы опять пытались брать Синявино. Оно стояло на горе. Мы забирались на гору, но нас сбивали.

Я тогда встретил Жукова и говорил с ним. Дело было так.

Меня вызвал Кулешов. Вхожу в дом. Полумрак. Над столом аккумуляторная лампочка. Полно генералов. Кулешов сказал мне:

– Завтра будешь стрелять по Синявину, прикрывать пехоту.

Мне задача не понравилась. Я понимал, что понесу большие потери. Немцы на горе, я на открытой позиции, сильно побьют. Стал крутить носом. Но тут Кулешов на меня накричал. Взнервился, чего с ним никогда не бывало. Резко приказал исполнять.

– Есть! – отвечаю, и к выходу.

Сбоку на венском диванчике сидят два генерала. Один меня окликнул:

– Капитан, вернитесь.

Я повернулся. Он был в метре от меня. Я увидел пять звезд в петлице – полный генерал. Жуков.

Спрашивает:

– Сколько у вас людей?

– Триста человек.

– Вы давно воюете?

– С сорок первого.

– Значит, вы человек опытный. Сколько погибнет пехоты, если вы не будете стрелять?

– Пара тысяч, если они будут лезть в эту горку.

– Арифметика вам понятна?

– Слушаюсь, товарищ генерал.

– Счастливого пути.

Я вышел – бух в машину и поехал. Дорогой соображаю: выдвинутые машины все равно погибнут, надо спасать людей – стрелять с выносных пультов.

Мы выдвинулись ночью и стреляли на рассвете. Я сидел в

ровике неподалеку. От реактивных струй меня всего залепило торфом: лицо, глаза… Отстрелялись. Немецкая батарея, блиндированная на горе, расстреляла нас прямой наводкой. Все двенадцать машин сгорели. Но было только двое раненых: одному оторвало палец, другому попало в мякоть ноги. На что уж Кулешов вежливый человек, а, когда я ему доложил о потерях, сказал:

– Врешь!

Очень жалко было машин. Американские «интернационалы», очень крепкие, прекрасные машины. Я больше таких не имел. Уже к вечеру мы получили «студебеккеры».

Тогда Жуков приезжал вместе с Ворошиловым как представители Ставки. Я встречался и с Ворошиловым. Мой дивизион вышел на огневые позиции к завтрашнему наступлению, на такую лысинку-полянку. Я смотрел место, велел вырубить какие-то кусты, а тут Ворошилов и подъезжает. Дивизион был одет очень хорошо, солдаты в шубах, поэтому он обратил внимание. Долго со мной беседовал, но разговор совершенно не запомнился, шел о вещах каких-то незначительных. Спросил бы о задачах, что нужно, но это его не интересовало.

Опять прорывали фронт. Я был напротив восьмого поселка. Немцы стояли там уже два года, построили два мощных дота. Мы умудрились выпустить тридцать шесть тысяч снарядов в первый день. Доты раздели до бетона. Они торчали, как два серых гриба, держали дивизию и не давали ей продвинуться ни на метр.

У нас были только 152-миллиметровые орудия. Пришлось подтягивать батарею двух 280-миллиметровых мортир. При каждой – расчет в восемнадцать человек. Снаряд – под подбородок, весом в триста килограммов. Его досылать в ствол надо банником впятером. Это была как раз моя специальность по училищу.

Мортиры уделали доты за два часа. Но и это наступление тоже было безрезультатным.

Это была последняя операция, когда дивизион выступал как отдельный. На фронте образовали две бригады по четыре дивизиона. Я сформировал еще один дивизион, выделив для него сержантов. Их у меня было с лишком. Техника – мура. С ней проблем не было.

Я поначалу попал в 7-ю бригаду. Ей командовал майор Михаил Григорьевич Григорьев. Он был честный и порядочный человек, даже с гипертрофированным понятием о чести. Мы с ним дружили еще до того, как он стал моим начальником, очень хорошие отношения сохранились и потом. После войны он стал

генерал-полковником, умер от рака легкого двенадцатого ноября 1981 года. Курил – жуть, не выпускал папиросы изо рта. Старший сын у него был полковником. Григорьев держал его на севере. Я Михаилу Григорьевичу говорил:

– Ну, сколько можно его там держать…

– Ничего-ничего…

В книге «Ракетчики» (сборник Григорьев М.Г. и др. ДОСААФ, 1979) на стр. 71 сказано:

«В приказе от 23 марта 1943 года по 7-й гвардейской бригаде реактивной артиллерии, которой командовал в то время гвардии майор М.Г. Григорьев, отмечались боевые подвиги личного состава дивизионов Б.А. Белова и И.С. Косова по прорыву укрепленной обороны противника в полосе наступления 374-й стрелковой дивизии Волховского фронта».

Потом меня перевели в 86-ю бригаду. Но здесь я пробыл совсем недолго.

16

На этом фронте у нас сзади был Волхов. Плохо было весной и летом. Немцы разбивали мосты. Мы кормились сушеной картошкой, сухарями, что закидывали на самолетах.

У нас в дивизионе было лучше других. Мой дивизионный интендант Пронин вырыл в деревне Концы хранилище для картошки, набрал бочек в отселенных от фронта деревнях. Получил в колхозах по нарядам картофель и капусту. Картошки завезли тонн двадцать, наквасили капусты. Другие ели мороженые овощи, а мы – нормальные.

Игорь Сергеевич здесь в который раз не прочь похвастать своей хозяйственной сметкой. Этим он мне сильно напоминает академика Алексея Николаевича Крылова. Прославленный кораблестроитель, математик и гироскопист в «Моих воспоминаниях» не упускает случая похвалиться удачно купленным в Гамбурге плащом, экономией на билетах при проезде через Германию и тому подобными свидетельствами своего здравого смысла и практичности.

У меня были тюменские охотники Зайцев и Ковалев и ненец Дерягин. Из маузера отшибали нос бегущей белке. Спрашиваю как-то Ковалева:

– Сколько зарабатывал до войны?

– Да в год до семидесяти тысяч…

Игорь Сергеевич понизил голос. Видать, и на войне такое считалось браконьерством: «Мои охотнички постреливали и лосей, и зайчишек. Как пойдут в лес – готово мясо. Хватало всем – и солдатам, и офицерам».

А главный охотник – Дерягин стал прибаливать. Что с ним – понять невозможно: он в неделю четырех слов не говорил. Прошу дивизионного врача:

– Посмотри, ради бога. Тот долго слушал, щупал. Говорит:

– Прикажи давать ему сырое мясо.

Дерягин стал есть сырое мясо и выздоровел. Сам видел, он резал мясо на длинные ленты, острием ножа подбрасывал один конец ленты в рот и налету отсекал кусочек. Я все боялся, что он отмахнет себе нос. Нож был острейший – бриться можно было.

Нос почти оторвало моему командиру батареи Приходько. Осколком. В тот же день я поехал к нему в госпиталь, куда его отвезли. Школа, забитая ранеными, нары во весь зал… Надо выручать. Отвез его в Сясьский госпиталь. Там нос ему пришили. Прирос. Только зимой мерз ужасно, и Приходько ходил, держась за нос рукавицей.

Зимой нам сильно не хватало витаминов. Куриной слепотой у меня болело примерно шестьдесят процентов. Болели и цингой.

Однажды Кулешов привез нам луку – угостить. Мы грызли луковицы, как яблоки. Кулешов сказал:

– Горько мне на вас смотреть, ребята.

На Волхове я познакомился с академиком Вотчалом, главным терапевтом фронта. Он поднял шум по поводу авитаминоза на фронте. Его прихватил особый отдел – и в Москву. Судили, дали десять лет, попал в лагерь. Но в это время в Москву прибыла делегация каких-то английских медиков, которые захотели увидеть члена Королевского общества мистера Вотчала. Того извлекли, одели, нацепили погоны. Показали, а потом вернули на фронт. Здесь он наладил изготовление хвойного отвара, витаминных сиропов, и авитаминозы отступили.

Особенно скверно было весной, в распутицу. В любых сапогах ноги к вечеру мокрые. У меня даже коленки начали болеть. Приехал под Курск – все прошло.

Весной и наши, и немцы вылезали на бугорки-пригорки и отсиживались посреди воды. Друг в друга не стреляли. Смотришь – рукой подать: сидят, портянки сушат. Только над головой снаряды пролетают, а ружейного и пулеметного огня – ни-ни.

Это был самый тяжелый, кровавый фронт.

Весной сорок третьего года я получил новое назначение – командиром дивизиона в Уральский добровольческий танковый корпус. Это было очень почетно.

Когда я в июне приехал в Москву, дивизион был еще в Свердловске. Начальник отдела кадров сказал мне:

– Хочешь – жди в Москве, хочешь – езжай в Свердловск.

Я, конечно, выбрал Москву: тут жила мать.

В Москве на переформировании я пошел к матери. Она спросила: «Хочешь выпить?» Поставила бутылку, маринованные грибочки, которые дожидались меня с отцом. Чуть пригубила сама, попросила: «Дай закурить». Дважды затянулась: «Нет, не то», – и отложила папиросу. Она бросила курить в 38 году. Мы втроем тогда были в Одессе. Поднимаемся по лестнице. Отец говорит ей: «Наташа, брось курить. Ну, на что ты похожа». Он в первый раз говорил ей об этом. Мать затянулась еще раз и бросила окурок в урну: «Все, больше не курю». Мы с отцом ей тогда не поверили.

Нашими гвардейскими частями командовал генерал-лейтенант П.А. Дегтярев. Генерал был маленького роста, его у нас звали Петр великий. Он увидел в списках двух Косовых: Сергея Ильича и Игоря Сергеевича. Отец служил в 5-й дивизии реактивной артиллерии зам. командира 23-й бригады по тылу. Дегтярев вызвал меня:

– Хочешь служить вместе с отцом? – и направил меня в ту же дивизию и ту же бригаду, под Курск. Командиром отцовой 23-й бригады был Корытько Николай Николаевич. Потом меня перевели в 16-ю бригаду. Ей командовал Петр Иванович Вальченко. В этой бригаде я и кончил войну.

18

Перебирая листы разговоров Игоря Сергеевича, выкраивая и сшивая из потока его воспоминаний текст, пригодный для стороннего чтения, я, похоже, стал разбираться в методах оперативного применения гвардейских минометных соединений.

В сентябре 41-го года Игорь Сергеевич воюет в крайней точке немецкого продвижения – на Валдае.

В отчаянном октябре он оказался под Калинином – под северной челюстью так и не сомкнувшегося окружения Москвы. Немцы завязли в боях под Каликиным, Марьиным, Ямком и

остановились здесь.

В 42– м и 43-м годах его место было в самом центре германо-советской дуги. В 42-м – под Орлом, на устоявшем краю, южнее которого фронт переломился и откатывался до Сталинграда. В 43-м он – в упоре, до которого сжималась пружина нашего отступления на Волхове, а сразу после этого – на Курской дуге, под Понырями.

Надо полагать, немцы не смогли продвинуться во всех этих местах еще и потому, что им здесь противостояли гвардейские минометные части. Потому, что здесь производил свои громокипящие залпы Игорь Сергеевич Косов.

На этот раз речь пойдет о войне Игоря Сергеевича в орловско-курских, коренных, центрально-черноземных краях России.

Дальше будет говорить он сам.

Приехал я под Курск, принял дивизион. Он был полностью укомплектован из тихоокеанских моряков: их посылали в гвардейские минометные части. Рядовые и офицеры были прекрасные. Они уже воевали. Все было привычно. Я как-то с первого дня вошел в ритм дивизионной жизни.

Я приехал перед самым немецким наступлением 5 июля, операцией «Цитадель», как они ее назвали. У нас заканчивалась подготовка к обороне. Дивизион разместился по балкам, километрах в пяти от передовой. Рыли аппарели для машин, маскировали сверху сетями, натягивая их на шестах. Машина выйдет из укрытия – колею надо забросать.

Нас подтянули к 15-й Сивашской дивизии. Ей командовал полковник Джанжгава. Она в двадцатом году форсировала Сиваш. Хорошая дивизия. У нас было очень много артиллерии. По шесть-восемь артполков на дивизию: легкогаубичные, тяжелогаубичные… Когда шлепает снаряд в сто килограммов от 230-миллиметровой гаубицы – это я вам скажу! Да еще по три минометных полка на дивизию. Восемнадцать минометов на дивизион по шесть стволов в батарее! В полосе нашей 13-й армии на шестьдесят километров артиллерии было напихано невероятно!

В ночь на 5 июля мы провели контрартподготовку. Я стрелял по местам, где немцам было удобно сосредотачиваться. Стрелял по площадям. Даешь команду: «Шкалой 1», и шагаешь залпами через 50 метров в одну сторону, потом обратно. Толку не очень много. Однако немцы отложили наступление на три часа. Обычно они начинали в три, а тут начали в шесть – совсем другое дело.

Началось Орловско-Курское сражение.

Что там делал я? Нам ставили задачу: прикрыть то-то и то-то. Дальше сам решаешь, куда и как стрелять. Выбираем и копаем

наблюдательные пункты и огневые позиции. У меня было шесть огневых позиций и одна выжидательная. Я заранее готовил данные для стрельбы с каждой позиции. Задавал, что нумерация квадратов целей меняется, к примеру, через час на плюс два, через два часа – на плюс пять и т д. Мы говорили по радио практически открытым текстом. Коды были простые, вроде блокнотиков с окошками, но не было времени для расшифровки. Мы брали пароли из анекдотов. Мой зам Борис Калинин радирует, например, фразу:

– Да здравствует наш начальник милиции и его детки!

Я даю отзыв:

– Да здравствуют наши жены, которые ходят на базар!

Это все из речи бердичевского еврея. Ни один немец ничего не поймет.

Я все время сидел на НП. Для него лучшее место не просто на гребне, а на гребне, который от немцев смотрится на фоне другой высоты. Я прекрасно вижу немецкую сторону

И.С. Косов.1943 год.

километров на семь-восемь. На НП курить нельзя. Дымок от папиросы виден на восемь километров, как от паровоза. На

стереотрубах бленды, бинокль экранируешь.

Но засекают, и это бывает часто. Сразу видишь – по тебе пристреливают. Отсиживаешься тогда в траншее: замолчат же когда-нибудь.

Артиллерийский наблюдательный пункт делается так. Из траншеи вперед выпускаются три уса в ячейки. Я – в средней на стереотрубе. Сижу на футляре от нее, очень удобное сидение. В соседних ячейках – наблюдатели с буссолью, биноклями. У меня были прекрасные связисты – моряки. Два отделения – проводной связи и два – радисты. Радисты были с эсминцев, с очень удобными английскими радиостанциями.

Я делаю расчеты: разворот, прицел. Рядом сидит разведчик Песков. Его работа – карандаши. Он подает карандаш «Н-4». Я им работаю, пока не затупится. Точить некогда – сую в сапог: очень удобно – не ломаются. Когда все заточенные карандаши выходят, Песков деликатно лезет ко мне в сапог за тупыми.

Дни проходили так. Бой начинался часа в три ночи с немецкой артподготовки. Мы цапаемся с их батареями. Часа в четыре – первые атаки. Полоса между окопами – двести-триста метров. Немецкие танки вылезают из всяких укрытий, из-за высоток. Они проходят свою пехоту, та встает за ними. Танки идут не очень быстро, пехота бежит за танками.

А по ним стреляют – боже мой! Темп стрельбы такой, что воздух колышется. Только в начале атаки слышны отдельные выстрелы, а потом – сплошной рев. Самое главное – отсечь пехоту от танков. Танками можно продвинуться куда угодно, но нужна пехота, чтобы закрепиться. У нас была очень мощная артиллерия. Видишь, как она бьет, не дает атаковать пехоте. Идет цепь, а по ней – разрывы, разрывы… Очень сильны были наши 120-миллиметровые минометы. Мина мощная – 25 килограммов. Это страшное оружие против пехоты. Там земля твердая, вороночка сантиметров восемь глубиной. Как жахнет, смотришь – нет куска цепи.

Под таким огнем пехота ложится, ее отсекают. Тогда и танки останавливаются, отходят, повернув пушку назад и отстреливаясь. Тем временем, пехота отползает назад, ее собирают и поднимают снова в атаку.

Я сижу на НП. Вижу – идут танки. В поле зрения десятки танков. Веду «неподвижный заградительный огонь» – НЗО. Назначаю место поражения, учитываю время пролета снаряда. Когда заранее хорошо подсчитаешь, получается, как надо. Даешь залп, накрыл – все окутывается сплошной стеной разрывов высотой со второй этаж, без прогалов. Когда стена опадает, видишь – один танк горит, другой крутится с подбитой

гусеницей… Кто уцелел – выскакивают, ошалелые, и напарываются на артиллерийские противотанковые позиции.

Наши боевые установки, как отстрелялись – скорее с огневой, а то прихватит либо артиллерия, либо авиация.

Виктор Константинович Беляков, многолетний приятель и коллега Игоря Сергеевича, прошедший всю войну в противотанковой артиллерии, комментирует тактику гвардейских минометчиков по-своему.

Приезжает он к тебе на «виллисе»:

– Слушай, лейтенант, дай-ка мне цели.

Отчего не дать, показываешь:

– Вон там, в балочке, – минометная батарея, у церкви – противотанковая пушка, там… и так далее.

Потом скажешь ему:

– Только вы стреляйте откуда-нибудь подальше от нас.

А то они тихонько подъедут, дадут залп – и давай бог ноги. Немцы моментально откликаются. Промолотят это место и все пути отхода – тебе же и достанется.

И весь день до вечера идут атаки. Так наковыряешься! Каждая атака предваряется огнем артиллерии. Если много идет танков и пехоты – на цикл уходит полдня. А бывало и до пятнадцати атак в день. Но немцы даже не доходили до нашего переднего края. Часов до одиннадцати ночи – сплошная кутерьма. И все время тебя бомбят и по тебе стреляют.

Все перепуталось: ночь и день. Чуть затихло – все спит. У нас было часа три-четыре покоя.

А надо еще подвести боеприпасы.

19

После войны, работая в издательстве Академии наук, я выпускал книгу Николая Александровича Антипенко, заместителя по тылу командующего Центральным фронтом Рокоссовского. Вот книга – «На главном направлении», вот в ней справка о расходе боеприпасов на нашем, Центральном, и соседнем, Воронежском, фронтах за время Орловско-Курского сражения. На Центральном фронте израсходовано в несколько раз больше. Поэтому немцы у нас и не продвинулись, а у них, на Воронежском, прошли километров пятнадцать.

Николай Александрович вспоминал, что Рокоссовский сказал ему перед началом немецкого наступления: «Меня не интересует,

где будете Вы. Если немцы прорвутся и окружат войска, я останусь с окруженными. Но Вы побеспокойтесь, чтобы у нас были горючее, снаряды и все остальное».

Антипенко рассудил, что в любом случае – будет ли нам окружение или будем наступать – надо склады подпереть под передовую. Он так и сделал. Выбросили ветки железной дороги в поле, километров за шесть-семь до передовой. Вагоны шли без насыпи.

Каждый день под вечер у меня не оставалось ни одного снаряда. Ночью мы подгоняли «студебеккеры» прямо к вагонам, и часам к двум имели комплект. В «студебеккер»входит 25 снарядов, на два залпа машины. Снаряд весит сто килограммов, с ящиком – сто тридцать. За день каждая установка делала пять-шесть залпов. Могли и больше, боеприпасы сдерживали.

До начала нового дня поспишь час-полтора. И днем, между атаками, в окопе, упершись коленками в противоположную стенку. Раз коленки соскользнули, и я шлепнулся на дно окопа. Разведчики смеялись: «Командир заснул». Спать хотелось все время. У человека удивительная способность все выдерживать. У меня был шофер туркмен. Он как-то не спал трое суток.

– Как мы жили? Целый день на НП. Все открыто: ходу ни к нам, ни от нас. Грызем сухари. Поесть удавалось только часов в двенадцать ночи. Термоса были паршивые, еда чуть тепленькая. С тех пор я не люблю горячего. Мальчишкой я не любил первое, ел только второе. После войны я стал ценить первое, могу есть холодный борщ.

– Как по нужде? Туалет делается так: от траншеи сделан отводок с углублением. Яма с двумя шестами: на одном сидишь, а во второй упираешься спиной. Эта система описана в руководстве Гербановского «Инженерное оборудование артиллерийских позиций». Раз на Волховском фронте майор, мой приятель, Грузин, пошел в сортир. Тут налетели самолеты, по ним наши бьют шрапнелью. Прямо перед Грузиным упал шрапнельный стакан. Он выскочил, держа штаны руками: «На говне убьют!»

Вот так и жили…

Через несколько дней центр немецкого давления на нашем фронте сместился к Понырям. Они прошли там километров десять, уперлись во вторую полосу обороны. Нас сдвинули туда ненамного, чепуха – километров на пятнадцать. Никакого переполоха не было, но приходилось все время маневрировать.

На северной окраине Понырей мы оказались в переплете. Все три взвода управления и мои наблюдатели были вместе со мной впереди, и немцы отрезали нас. Такое со мной случалось и раньше, на Волховском. Ощущение не из приятных. Танков было

много. Мы вшестером насчитали штук триста. Когда они прут на тебя и уже подходят близко, встает гусиная кожа, хотя и жара. Земля дрожит. Танки стреляют из пушек и пулеметов. И этот запах гари, когда они проходят над тобой…

Немцы – в чем их сильная сторона – ведут непрерывный огонь из танков, а пехота из автоматов. Это сильно действует. Хочется зарыться. Когда человек в окопе, а по брустверу все время щелкает, и пули свистят непрерывно, вылезать очень страшно. Потом и мы стали перенимать эту тактику. В сорок первом, сорок втором годах наша пехота часто не расходовала выделенные боеприпасы. А ведь можно даже стрелковым огнем подавить пехоту противника, массированным стрелковым огнем.

Танки прошли над нами. Я знал, что сидеть в окопе, ждать пехоту – пропадешь. Поднял своих, и мы пошли за немецкими танками, метрах в тридцати от них.

– Почему не попало от своих? Наша артиллерия била по танкам косоприцельным, по бортам. Нас видели и узнавали. Ведь даже цвет формы нашей и немецкой разный. У немцев цвет – фельдграу, видно издали. Кроме того, вся наша артиллерия сначала била по пехоте. Ее положили и долбили, чтобы не поднялась. Танки некоторое время не трогали.

А танкистам совсем было не до нас. Они смотрят только вперед и о пехоте не думают. Им бывает и без этого весьма грустно.

Немецкие танки прошли прямо, через насыпь железной дороги.

А мы за ней подались вправо. Вдоль железной дороги росли кусты, и мы по кустам – по канаве ушли в Поныри.

Комбриг думал, что мы пропали. Был в этом совершенно уверен.

Под Понырями мой дивизион придали 307-й стрелковой дивизии. Мы для нее ставили НЗО. Командовал дивизией генерал Еншин. Он ходил в пенсне, имел прекрасную выправку. Никогда не кричал, хотя у него был очень веский голос. Держался хорошо, даже и в драматические моменты: немцы подходили совсем близко – метров на полтораста.

Здесь же, под Понырями, четырнадцать танков вышли по балке на мой дивизион. Я успел выпустить по ним залп на нижнем пределе. Загорелось шесть танков. Остальные повернули назад, из балки выбрались вправо, а там стояли противотанковые батареи. Они их «скушали» в три минуты.

Одному танку, когда он вылезал на нас из балки, снаряд попал в брюхо. Дым, гарь, облако – из облака вылетела, крутясь, башня.

Упала на другую сторону балки. Мы смотрели потом: в брюхе дыра – пройти можно. От экипажа – ничего.

В танке, вроде, гореть нечему – груда железа. Но горит. Горит их иной раз до сотни в поле зрения. Сразу видно, где наш, где – немецкий. Наш дизель горит черным, немецкий, на бензине, – прозрачным.

Когда читаешь описания Курского сражения – у немцев сплошные «тигры» и «пантеры». Но там, в основном, были Т-3 и Т-4. Были отдельные танковые батальоны «тигров» в танковых дивизиях. «Тигра» видно сразу: прет, как сундук. «Тигры» – Т-6 и «пантеры» – Т-5 были, в общем-то, слабее нашей «тридцатьчетверки». Но у «тигра» была сильная пушка, переделанная из 88-миллиметровой зенитки.

Всю неделю немецкого наступления было очень тяжело. Авиация трепала жутко. Впрочем, артиллерия – еще хуже. Эквивалентные по весу снаряды сильнее.

Под Курском у нас впервые была преднамеренная оборона. Тут немцы зубы и сломали.

Но под Понырями нас потрепали здорово – и людей, и технику. У наших установок М-3112 дальность была малая – четыре тысячи триста метров, и нам приходилось держаться близко от передовой.

Поэтому в контрнаступлении мы участвовали совсем немножко.

21

Нас направили, как обычно, на ремонт. Мы стояли в Купавне, под Москвой. Нам добавляли машины, людей. Все пополнение с тихоокеанского флота, призыва 37-38 годов. Такие дуболомы!… У меня был солдат Алексеенко – бочку в пятьсот килограммов снимал с машины.

Народ на ремонте расслабился. Вызывает меня командир бригады. Поднимаюсь к нему на второй этаж, галерейка в частном доме. Стоят рядком три солдата внутренних войск. Таких, как у них, фонарей я никогда не видывал. Комбриг спрашивает:

– Видели? Это работа Ваших.

– Разрешите выяснить, – говорю я.

Ухожу. Вызываю Алексеенко:

– Твоя работа?

– Не, не я.

– Тебе ничего не будет, скажи, как было.

– Ну, пошел я в кино. Иду оттуда по мостику, а они навстречу. Ну, хотели меня побить. Я их по разу…

– А они?

– Они в речку попадали.

Прихожу к комбригу:

– Выяснил: так и так, обещал не наказывать.

– Ну, раз обещал, ничего не поделаешь…

Еду как– то на «оппель-капитане». Догоняю на шоссе своего ординарца еще с Волховского, Сашку Котова, Котяру. Идет вдвоем с писарем. Я остановился, приглашаю подвезти. В упор отказываются:

– Да нет, мы так дойдем…

– Садитесь!

Сели, в машине сразу дышать нечем, воняет эфиром. Спрашиваю:

– Как, хорошо выпили?

– Да мы не пили.

Они ходили к бабулям, которые работали на местном радиозаводе. Директор завода, чтобы не пили технический спирт, велел добавить в него эфиру.

Впрочем, чего только не приходилось пить. Под Варшавой, в Праге, мой начальник штаба Женька Шамзон добыл в каретной мастерской лак на этиловом спирте с грушевой эссенцией. Пьется, как сироп. Жили мы там в немецких закрытых палатках. После этого сиропа дух стоял в них – не продохнешь.

Моему Сане Котяре, Александру Ивановичу Котову, было тогда лет сорок. Он меня опекал. Когда я собирался что-нибудь сделать сам для себя, останавливал: «Стойте, не Ваше дело». Если куда иду, обвертит, осмотрит, обдернет.

– Поставьте ногу.

Ставлю сапог на табурет. Пройдется бархоткой.

– Теперь, капитуся, можно идти.

Он все умел. Нашел где-то машинку «Зингер», долго с ней возился, стал шить. Сшил мне фуражку. Козырек взял от какого-то картуза. Тут как раз ввели новую форму с погонами. Утром надеваю гимнастерку – вроде не моя. Он за ночь перешил по новой форме. Сшил погоны с подкладкой из брезента, гнутся – не ломаются.

Ремонтировались мы два месяца. Потом нас направили опять на Центральный фронт, под Лоев, севернее Киева. Было уже мокро, осень.

Впервые увидел собак – миноискателей. Очень любопытно. Немцы здесь все очень сильно заминировали. Собака идет, нюхает– нюхает и раз – села. Сапер точно перед ней находит мину. Собака чует даже фугас метра на полтора под землею.

Пока ждали переправы через Днепр, собирались на бревнах потрепаться. Раз сидим – разговариваем о певцах. Подходит командир нашей дивизии. Присел, решил что-то сказать: «А вот был певец – Харуза…» Мы чуть не лопнули. Передо мной сидел наш врач Славка Свешников. У него шея надулась, стала красной. А комдива мы так и прозвали «Харуза»

Он меня не любил. Приходит в дивизион:

– У Вас на огневых позициях безобразие.

– Разрешите, товарищ полковник, – почему?

– У Вас люди ходят без поясиев.

– Виноват, – что еще скажешь, – это я им разрешил, товарищ полковник.

Наша форма была неудобной: ремень, гимнастерка. Она пришла из царской армии. Форма должна быть спортивной, как у американцев.

Но и я был хорош фрукт, хорош был мерзавец. Я его почтительно поддевал. Только вылезу на совещании: «Разрешите, товарищ полковник, задать вопрос», – он покрывался красными пятнами. Ждал какой-нибудь шкоды.

Петр Иванович Вальченко, командир бригады, где я служил потом, перед каждым совещанием говорил мне:

– Сядешь со мной. Вопросы будешь задавать только с моего разрешения.

Добавлял:

– Не цепляйся к нему: он дурак.

23

Петр Иванович Вальченко умер лет пятнадцать назад. Хоронили его в Подмосковье, в военном городке Кантемировской дивизии, где перед отставкой он служил начальником артиллерии. Мы приехали на трех машинах: помпотех бригады на «москвиче», я – на «жигулях» и сзади – «волга» с

дипломатическим номером. На ней – Юрка Мозеш, венгр, командир батареи в моем дивизионе.

Когда дипломатический номер подкатил к проходной – все переполошились. Не пускают. Доложили командиру дивизии. Тот скомандовал:

– Немедленно пропустить.

В расположении части за нами очень деликатно приглядывали. Выходим мы из зала – тут же капитан:

– Не желаете ли осмотреть музей боевой славы?

Отец Мозеша был одним из основателей венгерской компартии. Потом в Париже кто-то из венгерских партийных руководителей забыл в такси портфель с документами. Пришлось Мозешу-старшему в Венгрии ночевать на бульварах, а потом – перебраться с семьей к нам. Это было в 27-м году, а Юрке было шесть лет.

Здесь отец работал директором швейной фабрики. В 37-м его посадили, в 48-м выпустили на 101-й километр и тут же посадили опять до 54-го года.

В том же году отец уехал в Венгрию вместе с Юркиной матерью и его младшим братом. Старший Юркин брат канул в 37-м. В Венгрии отцу не обрадовались, хоть он и был основателем: надо было давать какое-то место. Потом его сделали опять директором швейного объединения.

Юрка перед войной кончил в Союзе школу, провоевал войну в Красной армии и 56-м тоже уехал в Венгрию.

Он пришел в венгерский ЦК с партбилетом 42-го года. Ему обменяли билет на новый, венгерский, и он стал коммунистом с подпольным стажем.

Через два дня его вызвал командующий венгерской артиллерией: «Давай будем говорить по-русски. Так проще». Назначил его командиром артдивизиона в пехотной дивизии.

В один прекрасный день 56-го года приезжает он из своей части в Будапешт. Выходит на вокзальную площадь. Вдруг с фронтона вокзала государственный герб – шлеп! Все кричат: «Ура!» Дома отец говорит: «Тут восстание». На следующий день отправляется Мозеш-младший в свою часть, в Эстергом. А его на вокзале арестовывают. И еще тринадцать офицеров, хотя из толпы и кричат: «Не арестовывайте офицеров: они были с нами в 1848 году!» Посадили в вагон. Часовой ходит только с одной стороны. Но Юрка же воспитан в русской, а не в венгерской армии. Удрал, с ним еще семь человек. Шестеро законопослушных остались, их потом расстреляли.

На следующий день Юрка отправился в Министерство обороны. На улице офицеру в правительственной форме кричат в

спину – он делает ручкой. Подошел к министерству по противоположной стороне улицы. Увидел перед министерством офицеров в форме с автоматами – надо туда. Пока пересекал широкую, как Садовое кольцо, улицу – затылок стал мокрым: не стрельнут ли в спину. В министерстве полно офицеров, но полный разброд. Министр, бывший трамвайный кондуктор, со страху залез под стол. А под Будапештом стояла венгерская охранная дивизия. Нужно было только отдать приказ. Но некому… Потом Мозешу поручили, – ты ж воевал, – сформировать полк. Он и сформировал: шестнадцать рот одних офицеров, «по методу генерала Корнилова».

Покомандовал полком. Кончил Венгерскую военную академию – вроде русского провинциального военного училища. Там научился читать и писать по-венгерски. Говорил и раньше.

Направили его в Москву генеральным представителем по вооружениям. А тут его все знали, с начальником ГРАУ вместе воевал. Поэтому дело шло без лишней дипломатии: «Это, хорошо, тебе дадим, это – не можем». Когда пробовали его заменить – у преемников ничего не получалось. Так он прослужил три срока, одиннадцать лет. Уехал в Венгрию.

Юра мне говорил, что никак не может привыкнуть к Будапешту…

В рассказе Игоря Сергеевича возникают новые биографические линии – сыновей Мозеша, но это слишком уж уводит нас от ноября 43-го года.

Под Лоевым я поддерживал 65-ю батовскую армию. Она взяла Лоевский плацдарм, навела мосты, и седьмое ноября мы праздновали уже на том берегу Днепра. С этого плацдарма наносился удар на Речицу, в тыл Гомеля. Бои шли без дураков.

Мое дело было – стрелять, уничтожать узлы сопротивления. Данные для стрельбы передавали и сверху, и, главное, добывали своими глазами. В царской армии была песня: «И даже попивая чай, по карте местность изучай».

У меня здесь был паршивый наблюдательный пункт. Ужасный! Отвратительный! В какой-то канаве. Вроде, и копали сами, и хорошо он маскировался, и видно хорошо, но не нравился. Канава эта меня ужасно раздражала. Я начальника разведки гонял, гонял… НП хороший, а не нравился.

– Что делаешь на наблюдательном пункте? Приходишь – смотришь. Где неподготовленный не видит ничего – я вижу все. Тихо ведешь стереотрубу, видишь движение людей, видишь – листочки поникли… Особенно заметно у осины… Ага, навтыкали для маскировки… Пушка стоит… В секторе километр ширины и три в глубину видишь все пушки прямой наводки. Бывает десятка

полтора – два на секторе.

Заранее пристреливаешься по нескольким реперам. Делаешь поправки на ветер, атмосферное давление… При стрельбе есть очень простой прием, «коэффициент к»: дальность топографическая, деленная на пристрелочную дальность. Получается поправка до третьего знака. Для ствольных орудий полагается пристрелочная вилка в сто метров. У меня рассеяние больше, но все равно, если хорошо подготовишься, – пристрелка получалась одним снарядом с одной установки. Я пристреливал и 120-миллиметровым минометом: у него похожая баллистика. Еще любил пристреливаться звукометрически. Выбирай на карте площадку поровнее, чтобы куда-нибудь не в лощину, и клади четыре снаряда. Через пять минут тебе приносят звукометристы – куда попал.

Позиции немцев здесь были очень сильные. Бои по их прорыву шли с неделю. Прорыв пробивала пехота, и в него вошли бывший Доватора кавалерийский корпус Крюкова и танковый корпус Панова. Мы вводили корпуса в прорыв, а потом нас отвели назад, чтобы отрезать гомельскую группировку немцев. Наши уже в Речице, немцы в Гомеле – почти в мешке. Но в ночь перед нашим наступлением они из Гомеля ушли – мы и не заметили как.

Наша бригада оказалась в тылу. Стоим практически на окраине Гомеля. Отдыхаем. Загуляли, каждый день глушим рыбу в прудочке. Пьем водку.

Комбриг Николай Николаевич Корытько решил, что пора кончать. Стал вызывать по очереди всех командиров дивизионов. Меня как самого молодого вызвал последним. Думаю: «Он на тех разрядился – мне и легче».

Но у него только что вымыли пол. Он поскользнулся – и носом о шкаф! Так мне влетело больше всех. Я воткнулся между каким-то шкафом и пианино, а он пушит!

Тут входит командир дивизии. Корытько не любил, чтобы начальство ругало его подчиненных. Говорит:

– Геннадий Михайлович, вот ругаю командира дивизиона. Хороший, но – провинился.

– Не ругайте его, – отвечает комдив, – он все понял.

Корытько рявкнул мне:

– Уматывай!

Тем я и отделался.

Потом через Гомель нас двинули на Речицу – Еланы. Наш фланг растянулся, прозевали сосредоточение немцев, и они в пять дивизий ударили во фланг 65-й армии. Батов подробно об этом пишет в своих воспоминаниях. Его армия могла бы с

немцами и не справиться. Но туда подтянули 4-й артиллерийский корпус – три дивизии: пятая и двенадцатая артиллерийские и наша, пятая, гвардейская минометная. Немцы сильно жали, тут у них была танковая дивизия, но их остановили и раздолбали артиллерией. Ковырялись с неделю. В это время мой дивизион стоял в Ново-Марковичах, севернее Речицы. Я действовал однообразно: ставил неподвижные заградогни, как под Курском…

В это время у нас сменился командир бригады. Чем был знаменит новый? Пожрать и выпить. Особенно выпить. Поехали мы из Ново-Марковичей с новым комбригом на первую рекогносцировку. Сухая осень, начало зимы, еще без снега. Едем – он на «виллисе» и мы за ним. Вдруг комбриг сворачивает в кусты. Шофер мне:

– Комбриг свернул.

– Давай и мы: он же нас не отпускал.

Комбриг говорит нам:

– Ребята, заморим червячка.

– Товарищ полковник, пять километров осталось.

– Нет, нет, давайте.

Мы еще его не знали. Из специального ящика на подножке «виллиса» шофер достает колбасу, бекон, жареную курицу… – для нас немыслимые лакомства. Мы потом подсчитали: он выпил полтора литра водки и съел, как Гаргантюа, всю курицу.

Превращая в упорядоченный ряд речи Игоря Сергеевича, я не раз задумывался, не будет ли упрекать меня мой гипотетический читатель в принижении облика защитника отечества. Не слишком ли много водки, личных отношений, быта.

Гипотетически предполагаю, что Игорь Сергеевич прекрасно предвидел, что через пятьдесят-сто лет после войны быт, личные впечатления и взаимоотношения очевидцев этого великого времени станут самым интересным и недоступным материалом.

Записывая его воспоминания, мы не думали ни о каких публикациях. Очень эмоциональный и определенный в суждениях человек, Игорь Сергеевич был, допускаю, не вполне беспристрастен в своих оценках. Но поскольку дело дошло до печатного текста, я взял на себя следующие правки исходных записей: когда речи Игоря Сергеевича становились, на мой взгляд, личностно небезобидными, я опускал имена затрагиваемых персон.

Раз под Ново-Марковичами я развернул весь дивизион для стрельбы. Открытое место, мы не закапывались.

Вдруг вижу – на нас идет штук тридцать Ю-87 – «лаптежников». За ними показывается еще такая же группа. Они могли удивительно точно бомбить почти с вертикального пикирования. А тут – голое плато километра на полтора.

Абсолютно ясное небо, под вечер, легкий морозец. Уже лег снег.

У меня в голове: «Вот они дадут нам прикурить. Сейчас будет!» Но рядом стояла наша 88-миллиметровая зенитная батарея. Она дает залп. В небе – черные разрывы. И вдруг ведущий взорвался на собственных бомбах. Громадный клуб дыма, из него летят мелкие ошметочки. Остальные самолеты раскидало волной. Они развернулись, высыпали бомбы в болото и ушли.

Подходит вторая группа. И повторяется тот же сюжет: с первого залпа взрывается головной самолет. И опять все разворачиваются и уходят.

Мы пооткрывали рты. Неповторимо! Я просто осатанел. Если б не такое везение – из дивизиона сделали бы форшмак. От нас осталось бы мокрое место!

Затем мы, не дрогнув, дали залп и укатили.

В Ново– Марковичах жили в сарае. Холодно ужасно. Сквозь стены видно снег. Костер прямо в сарае. Дым ест глаза. Я начал чесаться. Днем не чешусь, а ночью – пропащее дело. У меня был фельдшер Райхенштейн. Поставил диагноз: «У вас чесотка». – «Давай лечиться».

Ночью в самый холод меня раздели в сарае и обмазали гипосульфитом. Я облез, как перчатка. Дивизионный врач Славка Свешников повез меня в бригаду. Там сказали: «Нейродерматит». После десятка уколов хлористого кальция все прошло.

В январе 44-го года мы пытались брать Калинковичи и Мозырь.

Ночью, когда выдвигались для наступления, пошел такой ливень! Проехали Климовичи, Коровичи… Я вышел на остановке из машины и провалился по грудь в воду. Съехал прямо в какую-то трубу. Пока привезли шубу, пока что – меня всего затрясло.

К утру, только началась артподготовка – ударил мороз. Потом пошел такой крупный, хлопьями, снег – ничего не видно. Пехота прошла метров двести-триста, залегла и отползла назад.

А я после купанья заболел. Температура – 40 градусов. Мой начштаба Макунин бежит к комбригу:

– Командир заболел, бредит.

Тот распорядился:

– Бери мою «эмку» и вези в Речицу.

Отвезли. Я звоню Славке Свешникову:

– Что делать?

– У тебя сердце здоровое. Возьми несколько таблеток аспирина и выпей стакан водки.

– Слава, я не могу пить водку: с души воротит.

– А ты выпей.

Я выпил четыре таблетки аспирина и стакан водки. Всю ночь потел ужасно. Ночью меня поднимали – был весь мокрый. Утром встаю – ноги дрожат, температура 35,6. Звоню Славке. Тот говорит:

– Надевай тулуп, иди ко мне.

Медпункт был метрах в двухстах. Прихожу – лежат на топчанах двое: Славка – ему осколком отрубило палец на ноге, командир дивизиона Митя Мартынкин – ему осколок прошел по ребрам. Под столиком четверть водки. Записка командира бригады: «Ребята, извините, я из вашей четверти уже начал». Санинструктор водку не дает, пока не сдадим пистолеты. Сдали. Целый день втроем пили эту четверть. Потом я почувствовал, что температуры нет, и поехал к себе в дивизион.

Слава умер несколько лет назад. Когда виделись последний раз, я ему говорю:

– Славка, у тебя ни одного седого волоса.

Он отвечает:

– Зато морда, как печеное яблоко.

Мы его звали «Подсвешников», а то – «Сын хора». Нарочно, как выпивать – ставим пластинку хора Свешникова. Он отмахивался:

– Во, отец хреновиной занимается, а я должен слушать.

Он до нас служил в десантных войсках, забрасывался в тыл к немцам. Был большой, как комод, бывший боксер. Встретится – раз, правой тебе в плечо, как кувалдой. Так и летишь…

26

Недели через полторы мы опять стали наступать на Калинковичи и уже успешно. Взяли Калинковичи вместе с Мозырем. Мозырь более известен, хотя тогда оба города были – одинаковые деревни. Севернее их тянется Варшавское шоссе, хотя оно такое же шоссе, как я – турок. Там, на шоссе, стоял Пропойск, его потом назвали Славгородом. Город брала 3-я армия Горбатова. Один командир дивизии из его армии сказал Горбатову, что будет брать Пропойск только при том условии, что дивизии не присвоят потом имя города. Мне об этом рассказывал Горбатов, когда уже после войны я был у него дома, на Спиридоньевке. Мы хотели переиздать, расширив, его «Воспоминания». Не вышло: он был по тем временам шибко самостоятельный.

Нашей дивизии присвоили наименование «Калинковичской» как раз 20 января, когда праздновали годовщину ее формирования. Была легальная пьянка. Сначала обед с трех дня до двенадцати ночи у командира дивизии, а потом – по бригадам.

Взяли мы Калинковичи где-то… Постойте, можем проверить. У меня есть «Приказы Верховного Главнокомандующего». Книга в продаже не была, но мне ее подарил Паша Шкарубский. Он ее выпускал.

Игорь Сергеевич листает, приговаривая: «Маленький, злой… Юра Плотников про него говорил: „Злой потому, что маленький: сердце от дерьма близко“… А! Вот: „Кузовков… сотая бригада большой мощности – мой приятель…“

Да я ж неправильно смотрю! Надо в 44-й! Сейчас глянем. Во! Пожалуйста! Нашел: «В боях за освобождение городов Мозыря и Калинковичи отличились… и генерал-майора Игнатова…», – наш корпус! И дата – четырнадцатое января 1944 года.

Ба! Еще знакомый. Генерал-майор Гусаров – так это ж мой преподаватель тактики из училища. На гауптвахту меня сажал. Вот еще один – наш капитан Цесарь. В «Приказах» масса знакомых фамилий среди артиллеристов, много преподавателей ЛАУ-3, у которых учился.

Под Речицей мы провели с полгода. Выдвинемся из города, постреляем-повоюем с неделю, и опять в Речицу. Шли бои за высоты. На две-три высотки уходит две-три недели боев. На улучшение позиций уходит много времени. Надо было захватывать плацдармы для будущего наступления – операции «Багратион». Болота, лес…

До мая постоянно велись небольшие операции. В мелких боях не откладываются подробности. Обычно в операции участвует одна бригада. Ее дивизионы раздают по пехотным дивизиям, и там им ставит задачу командующий артиллерией дивизии. Чаще всего, это огонь по узлам сопротивления. Стреляешь очень аккуратно, чтобы не попасть по своим. Все-таки в реактивной артиллерии большое рассеяние. Это нас мучило. Любопытно, что на больших дальностях эллипс рассеяния у реактивных снарядов ложится поперек линии огня. В этом преимущество реактивной артиллерии против ствольной: не нужен косоприцельный огонь. Если действовали в паре два дивизиона, получалась такая плотность огня, что ни единого выстрела в ответ.

Жили в землянках. За каких-нибудь три дня сооружали великолепные апартаменты. В 41-42 годах мы жили просто в норах, не умели устраиваться как следует. А здесь – у меня были землянки на несколько комнат, стены отделаны плахами. Печки делали какие угодно. Искали железо в железнодорожных депо, на

заводах, а технические летучки были свои.

Глушили на Соже рыбу. Там были затопленные плоты, под ними всегда стоит рыба. Семидесятипятиграммовая шашка тола точно входит в противотанковую мину. Бросил – и пожалуйста. Под Речицей в июне мой начальник разведки поехал глушить рыбу на Днепр. Их лодку нанесло на собственный заряд. Лодку разнесло, но сами остались живы. Они боялись показаться мне на глаза. Я приказываю:

– Найти этого мерзавца!

Приводят. Ему всю морду побило досками. Морду разнесло. Объясняет:

– Это мы с трудом выбирались из воды.

Из под Речицы окончательно мы ушли летом 44-го, незадолго до белорусского наступления.

К осени 43-го года перелом хода войны стал несомненным. Последний этап военной биографии Игоря Косова связан с победным стремлением Красной Армии на запад. Виктор Лапаев двинулся на запад годом раньше. Вот как это было.

ГЛАВА V
В ПРОКЛЯТОЙ СТОРОНЕ

В. П. Лапаев

1

В ноябре 1942 года меня, полуживого, перевезли на телеге из Виленской политической тюрьмы Лукишки в распределительный лагерь, шталаг. Я там немного пришел в себя.

Спустя неделю среди пленных пошли разговоры, что в Германию собираются отправлять очередную партию.

Я стал подбивать ребят бежать из эшелона. Уговорил пять человек, я – шестой.

Настал день, когда нас, тысячи две народу, повели на погрузку. Перед выходом немцы обыскивали группами пленных. Мы перебросили через проволоку ножи тем, кто уже прошел обыск.

Все шестеро попали в один вагон. Грузили по двадцать человек в вагон – обычный товарняк, на окошке решетки. Эшелон тронулся. Перед Каунасом начали резать ножами стенку, в углу вагона, поперек досок. Я спешил: надо было бежать, когда поезд еще идет по Литве. Нас повезли часов в одиннадцать утра, и ночью мы были бы в Пруссии. Решили оставить чуть недорезанную стенку, выбить ее, как стемнеет, и прыгать на ходу. Работали, прикрываясь шинелью. Прорезали так, что стало просвечивать.

Все, кто ехал с нами, решили бежать тоже. Но в нашем вагоне ехал старик лет пятидесяти. Он боялся: «Вы, молодые, попрыгаете. Я останусь, и немцы меня расстреляют». Отговаривал нас от побега, умолял не оставлять его.

Эшелон остановился в Каунасе. Снаружи открыли дверь, чтобы дать в вагон воды и сменить парашу.

Нам, дуракам, надо было держать старика, а он сразу выскочил в открывшуюся дверь и упал на перрон. Немец ногой пихает его обратно в вагон, а тот валяется, не встает, визжит, показывает жестами, как ножом режут стенку, а его – жест

поперек горла.

Немец подозвал переводчика. Тот выслушал старика, кликнул еще двух немцев, и все немцы вошли в вагон. Ничего не увидели: место было закрыто шинелью. Вызвали старика, он указал на шинель. Немец сорвал ее, схватился за голову: «Ферфлюхт!»

Поднялся переполох. Вызвали еще человек десять охраны. Появился гауптман, начальник эшелона. Пленных выгнали на перрон, стали проверять все вагоны. Обнаружилось еще два порезанных вагона. Людей из них согнали вместе, приказали раздеться догола. Женщины проходят по перрону, отворачиваются.

Старик указал на меня: «Вот зачинщик».

Солдат выдернул меня из шеренги. Гауптман направился ко мне, вынимая из кобуры пистолет. Я подумал:

– Все. Сейчас застрелит…

Тот подошел и ударил меня рукояткой пистолета по затылку. Шрам – до сих пор. Я на мгновенье потерял сознание и упал. Гауптман стал бить меня ногами. Бил без остервенения, больше по ляжкам. Попался «сознательный».Я уворачивался, чтобы не попало по легким.

Всех шестьдесят голых людей из трех порезанных вагонов загнали в один вагон. Повезли. Ни сесть, ни лечь. Душно. Для меня очистили место в углу вагона, положили. Я был залит кровью, сильно болели ноги. Ребята из нашей шестерки обмыли меня водой.

2

Через двое суток ночью эшелон пришел в Белефельд. Нам, голым, дали команду одеваться. Мы на шарап кинулись к куче одежды. Мне достался один сапог и один деревянный клумпес, здоровенные немецкие солдатские штаны и немецкий китель. Сфотографировать бы – умрешь со смеху.

Это был 326-й шталаг, крупнейший в Германии пересыльный пункт. Бараков штук пятьсот, человек по сто в каждом. Бараки стоят рядами. Посмотришь вдоль ряда – конца не видно. Вокруг – колючая проволока, вышки. Как везде, внешняя охрана – немцы, внутреннее управление – свои. Если бы внутреннюю службу пришлось держать немцам – им понадобилось бы еще пол-армии. Полицейские из пленных жили в отдельном бараке, их кормили лучше. Чуть что – в морду кулаком, и палка не нужна.

Полицейские были, в основном, украинцы. Немцы им больше доверяли, по-видимому, из-за их национализма.

В украинцах и в националистах ли дело? – всплывают смутные мысли.

Недавно мне попали в руки воспоминания человека родом из Белорусской деревни Сомовичи, на Гомельщине. Автору в 41-м году было девять лет, звали его Василек.

С неторопливой, деревенской, обстоятельностью разворачиваются в рукописи судьбы десятков родов его односельчан.

С подробностями, донесенными памятью трех поколений, рассказывается о вражде деда с барскими, из своей деревни, лесниками…

О раскулачивании, которое проводил отец…

О расколе деревни в 41-м после прихода немцев. «Кулаки» стали полицейскими. Отец с товарищами ушел в партизаны. Беспощадная борьба соседа с соседом на тропах и в урочищах, истоптанных вместе с детства. Тупая, пьяная, победительная жестокость полицаев. Имена, характеры, смерти…

Извечные игры детей в войну. Дети партизан были – «красные», дети полицаев – «немцы». «Немцев» в этих играх было больше. «Красных» били.

В 42– м Василька вместе с сестрой немцы взяли в заложники – за отца. Полгода они провели в Гомельском киндерлагере – на баланде и съедаемые вшами, точь-в-точь как Виктор Лапаев. Отец Василька пригрозил старосте Сомовичей истребить всю его родню «до шестого колена». Какой ценой и как – неизвестно, но староста добыл документ, по которому детей выпустили.

Записки останавливаются на гибели деда Василька, бабки и дяди-горбуна, которых прямо в родной избе замучили односельчане-полицейские.

Сквозь бесстрастность повествования слышен скрип зубов. Как мне сказали, автор на этом месте надломился и продолжать дальше не смог.

Я интересовался, что в Сомовичах случилось потом.

Перед приходом Красной Армии часть полицейских, пытаясь реабилитироваться, стала сговариваться с партизанами против немцев. Немцы, прознав, отреагировали просто и четко: они окружили Сомовичи и сожгли деревню вместе со всеми стариками-старухами, бабами, детьми – и «красными», и «немцами».

Дети из Гомельского детского лагеря поумирали: немцы забирали у них кровь для своего военного госпиталя.

Отсидев положенные сроки, бывшие полицейские вернулись в родные места мужиками еще в силе к своим выросшим детям. И

опять установили жесткую неформальную власть над краем, населенным солдатскими и партизанскими вдовами. Мне в другое время и другие люди рассказывали, что и на Брянщине – как раз там, где шумел сурово Брянский лес, – история советского коллаборационизма имела такие же продолжения.

Кайшядорские, лагерные, гомельские, брянские полицаи… Их числом и рвением держался «новый порядок» на оккупированных территориях. Сколько их было общим числом? Что побуждало их служить чужой, беспощадной, злой силе? Как разложить для них по долям родовое предопределение и свободу выбора?

Ответы на эти вопросы еще долго будут обжигать руки.

Проблема свободы воли проста для девятнадцатилетнего солдата. Право распоряжаться своей и чужими жизнями для него – в нехитрой формуле: «Либо ты – его, либо он – тебя». Эта проблема становится неразрешимой для теологов, историков, юристов-международников. Думается, что человечеству здесь не заповедано ничего, кроме библейского закона: «За грехи отцов Господь карает до седьмого колена». И если класть на каждое поколение по тридцать лет, то время последействия человеческих дел растягивается на пару столетий. Не расхлебываем ли мы сейчас горечь от закрепощения Малороссии Екатериной и от указа о вольности дворянства, распустившего служивое сословие по родовым гнездам.

В последние, смутные годы я с беспомощной горечью вижу, как моих друзей разделила незримая трещина по признаку их родового происхождения.

Мои друзья – это нравственная и интеллектуальная элита России, в большинстве своем – доктора наук и профессура, трудяги и умницы, люди, на которых можно положиться. В шестидесятых они были «шестидесятниками». В 70-80-х многие пошли в партию, «чтобы самим решать, что делать». В девяностые – раскололись примерно поровну.

Я растопырился посредине в нелепой гегельянски-буридановой позе. На моем флажке банальная пропись: «Что случилось – тому и суждено быть». Флажок сей треплет ветрами со всех сторон.

Одни мои друзья яростно не приемлют того, что произошло с советской державой. Друг с полувековым почти стажем в ответ на мои исторические фатализмы натужно скрипит в телефонную трубку, что я «продался режиму». Другой, страдая и переламывая себя, отказывает мне в праве считаться «русским». Виктор Лапаев оказался, естественно, в этом лагере: «Поздно, дорогой, менять мне свои убеждения. Человечество ничего выше коммунистических идеалов не придумало. А реализация… Люди – они и есть люди».

Меня поражает, что все эти друзья – дети первого поколения

советской интеллигенции, дети первых советских рабфаковцев, инженеров, партработников, военных…

По другую сторону – те мои друзья, которые столь же непримиримо отвергают все, что связано с семьюдесятью годами советской власти. И они все – проростки из перевернутых революцией пластов общества: из дворян, духовенства, из «незаконно репрессированных» в тридцатые годы. Наш первый президент стал мне понятен, когда я узнал, что он – из рода раскулаченных.

Иногда я размышляю вслух о неизбежности революции семнадцатого года, о том, что большевистская диктатура спасла, быть может, Россию от пугачевщины… Такие меланхолические речи безмерно раздражают друзей этого толка.

Наши с Игорем Сергеевичем исторические воззрения были, пожалуй, схожи.

Однако, пора бы вернуться к простым реалиям военной биографии Виктора Лапаева.

3

Из шталага меня с партией пленных послали в Ганновер. Работали на «Ганномаге», крупнейшем химкомбинате по производству искусственного каучука. Мы там грузили ящики на складах. С чем – не знаю.

Жили в бараках человек на двадцать, в ячейках на шесть человек. Спали на трехэтажных нарах, как в плацкартном купе, по одному друг над другом. Во всех лагерях, где я побывал, бараки были устроены одинаково. Нигде не спали вместе. Здесь мы жили без охраны, проволоки, вышек.

Я проработал на «Ганномаге» с месяц. Часто объявляли воздушные тревоги: город бомбили англичане и американцы. В один из дней – опять сирены, заводские гудки: тревога. Нас увели в подвал пятиэтажного дома, такое характерное для Ганновера большое здание красного кирпича, пропитанное копотью, как засмоленное.

Эта бомбежка была очень сильной. Все сыпалось, стоял сплошной гул от взрывов. Так продолжалось часа два. Дали отбой, нас повели в лагерь. Опять тревога – сирены, заводские гудки, и нас бегом погнали в тот же подвал. Снова часа два содрогания земли и гула. После бомбежки вышли на поверхность – наш дом и район вокруг не пострадали, а весь город был

разрушен. За пять часов бомбежки от города почти ничего не осталось. На «Ганномаг» нас больше не водили, хотя, как я потом узнал, комбинат остался невредим. Недели две гоняли расчищать улицы. Командой в двадцать человек растаскивали обломки домов, мебель…

4

Потом нас опять вернули в 326-й шталаг. Поместили в какую-то карантинную группу, которая размещалась в подвалах общих бараков. В окошко сквозь решетку видно было только, как ноги ходят по тротуару. Сидим, лежим на нарах напротив друг друга. Как-то с противоположного ряда нар через проход кричат:

– Эй, землячки, табачку нет?

Я в ответ:

– Ты откуда?

– Калининский…

– Откуда, откуда?!

– Из Лесного…

Я оторопел:

– Ты и моего отца знаешь – Лапаева?

– А ты Петра Антоновича сын?!

Отец был первый секретарь райкома. Его каждая собака знала. Я протянул руку, поздоровались:

– Ты и моего брата знаешь, Тольку?

– Как же, вместе мобилизовались, нас отправили на Волховский фронт…

Потом, уже после войны, я узнал, что этот земляк ошибался. Толька, мой младший брат, в семнадцать лет пошел в армию добровольцем и пропал в октябре 41-го под Москвой. Тогда, после госпиталя, он забегал в Москве к тете Варе, моей молочной матери. Он рассказал тете Варе, что служит разведчиком в моточастях. Запорались к немцам, кого убило, кого ранило, его – легко. Спешил на сборный пункт где-то на шоссе Энтузиастов. Рослый, широкоплечий… Через неделю пришел от него к тете Варе перевод на сто рублей. После этого от Анатолия и о нем не было до сих пор никаких известий.

5

После карантина меня отправили на работу в Оберхаузен. Самый центр Рура: Бохум, Оберхаузен, Эссен. Города слились. Попал на угольную шахту. В ней работало больше пяти тысяч пленных. Жили в лагере, метрах в пятистах от шахты. Работали по двенадцать часов в день: ставили крепеж, сцепляли вагонетки, кто посильнее – кирками рубили уголь и грузили его в вагонетки. Я сначала подтаскивал крепеж, потом грузил уголь. Были установлены нормы, их надо было выполнять.

Утром кормили в лагере, обедали в шахте. На день – двести граммов хлеба с примесями. В баланде картошка, немного круп либо гороха. Норма – черпак в пол-литра. Кому – погуще снизу, кому – жижи сверху. Бывало, попросишь:

– Ну, что ты – ни одной картошки не дал…

Если повар в хорошем настроении – добавит, а нет – матом:

– Иди, а то черпаком!

Я редко унижался просить. Но мне было легче, потому что я тогда не курил. На месяц каждому полагалась пачка махорки на пятьдесят две закрутки. За одну закрутку давали пайку хлеба. Такая такса была везде, где бы я ни был. Хлеб на курево меняли совсем уж доходяги, которым хотелось только забыться.

Каждый день из санчасти выносили хоронить одного, двух, трех. Считалось, проработаешь под землей месяц-два и помрешь. Когда на шахту прислали нашу свежую партию, там оставался только человеческий шлак.

Я понял, что любой ценой надо выбираться на поверхность: оттуда можно было сбежать. За полбуханки хлеба обменялся местами с одним, работавшим наверху. Попал на дорожные работы: в команде из двадцати человек чистили пути, подбирали уголь. Сбежать отсюда было нельзя. А тут еще при попытке убежать поймали двух пленных. Всех выстроили на плацу перед бараками. Вывели тех двоих. Объявили, что их вечером расстреляют, и увели. Думаю, просто пугали, но я заколебался.

Но потом мне сильно повезло: я попал на кухню. Туда отправляли по три человека в день чистить картошку, мыть посуду. Приходил на плац перед работой переводчик, командовал: «На кухню! Ты, ты, и ты». Ткнул и в меня.

Оглядываюсь на новом месте. Лагерная территория имела форму вытянутого прямоугольника. В дальней от наших бараков стороне лагеря проволочной изгородью были отгорожены барак немецкой охраны и кухня. В одном конце этой поперечной изгороди – калитка, открытая по утрам: через нее выходил из своего барака немецкий караул. Другой конец примыкал к главным лагерным воротам, из которых пленных разводили по

работам. К воротам подходила партия, ее пересчитывали, немец кричал: «Штымт!», и команду вели на работу. По внешней границе кухонно-караульной площадки – каменная стена метра три высотой, поверху – колючая проволока в одну нитку. Около этой стены помойка. Таская помои, я увидел, что вдоль стены стояли в два этажа кроличьи клетки. С них можно было достать до верха стены.

Я решился. На следующий день, в семь часов, еще в полной темноте ноябрьского утра, я пристроился при разводке на работы в хвост своей команды, незаметно отделился от нее и залег у изгороди.

Команду пересчитали: девятнадцать! Одного не хватает. Началась небольшая сумятица минут на пять. Побежали в бараки… Вернулись… Потом, видать, махнули рукой: куда ему деться, и команду вывели в наружные ворота.

Я прополз вдоль внутренней изгороди от наружных ворот к кухонной калитке, ползком мимо кухни и барака охранников добрался до клеток – и первая же клетка, на которую я выполз в темноте, оказалась собачьей конурой.

Из нее прянула овчарка. Зарычала. Она не менее меня была ошарашена неожиданностью. Я не чувствовал страха, медленно придвинулся к собаке, стал оглаживать ее, совать хлеб, который наменял на махорку к побегу. Это гипнотически подействовало на нее. Рычание перешло в клокотанье, все тише-тише и совсем смолкло.

Я с трудом забрался на клетки, с них на стену и прыгнул в темноту, не зная – куда. Удачно упал, затаился. Все было тихо.

6

Неподалеку от стены проходила железнодорожная ветка от шахты. По ней составами по четыре-пять вагонов отвозили уголь. Почти сразу же я услышал звук тихо идущего состава и вскочил на площадку товарного вагона.

Я хотел уехать подальше от Оберхаузена, пока меня не хватились на шахте. Потом думал пробираться во Францию. Были разговоры, что там началось сопротивление, и немцам наших не выдают.

Однако поезд остановился на окраине города, проехав всего с километр. Уже стало рассветать. Вижу большой завод, справа дымится огромная куча шлака, слева – жидкий лесок. Сунулся в

него, он – как сито. Рассветет – увидят сразу же. Наткнулся на старую железную трубу диаметром с метр, лежащую на земле. Залез в эту трубу и просидел в ней до вечера. Там ноябрь гораздо теплее нашего.

– Как был одет? В немецкую списанную шинель и китель. На спине «SU» и номер. На голове – немецкий картуз с козырьком.

Когда стемнело, выбрался из трубы и двинулся через город на паровозные гудки. Шел смело. Оберхаузен был весь разрушен, и мне по пути никто не встретился. У товарной станции пролежал всю ночь в густой, сухой, вроде полыни, траве. Со мной был хлеб, но есть его от возбуждения не мог. На рассвете высмотрел стоящий состав. Платформы, на которых что-то было накрыто брезентом. Влез, спрятался под брезент. Это оказались походные кухни. Решил ехать трое-четверо суток – все равно куда, на запад или восток. Куда-нибудь приеду.

Во второй половине дня состав тронулся. Ехал всю ночь. Часов в десять утра остановился. Из под брезента увидел здание вокзала, на нем готическими буквами – Дюссельдорф. Настроение улучшилось: «Все, выбрался. Едем на запад, к Франции».

Спустя некоторое время, я услышал разговор. Мимо меня прошли двое, вернулись, задрали брезент. Я перебрался на другую сторону платформы и спрятался за колесо кухни. Немцы проверяли проволочные затяжки, которыми кухни были расчалены на платформах. Один из них увидел меня:

– Рус, рус! Комм!

Я уже стал понимать разговорный немецкий. Слышу, этот немец говорит второму:

– Здесь русский.

Тот отвечает:

– Давай его сюда.

Подняли брезент. Я сижу за колесом, как заяц.

– Комм!

Пришлось подняться. Я ехал сначала в угольном вагоне, потом ночь пролежал в трубе – вид был ужасный.

Повели меня на другую от вокзала сторону, направо от эшелона, к одноэтажному зданию вроде какой-то канцелярии. Там сидели две молодые, расфуфыренные девки. Они так и бросились мне в глаза по моей тогдашней молодости. Немцы посоветовались и заперли меня в полуподвал этого здания.

Полуподвал был завален ворохами бумаг. Я сел на бумагу, стал засыпать: две ночи перед этим не спал. Но слышу, подо мной что-то шуршит, ворочается. Пригляделся – вдоль стен шмыгают громадные крысы. Перепугался: останешься на ночь – сожрут. Долго бил ногами в дверь – никто не открывает.

Часа через два дверь открывается, пришли две прежних девки, четыре новых и с ними мужики. Разглядывали меня минут пятнадцать. Посмеялись и захлопнули дверь. Я опять без толку стучал в нее. То стою около нее, то присяду на корточки. Боюсь, как бы крыса не схватила за задницу.

Потом дверь открывается. Входит немец с винтовкой, командует: «Комм!» Повел через весь город и сдал в городскую тюрьму. Здесь меня заставили раздеться и препроводили в ванную. Чистейшая, кафель сияет. Показали, что надо вымыться под душем. Мыла не дали. Помылся теплой водой. Взамен своей одежды выдали тюремную, полосатую, тапочки, шапочку. Посадили в камеру 2х4 метра, койка, застеленная чистой простыней, столик, приделанный к стене. Присел не без робости сбочку на койку, думаю: «Жить можно». Принесли ужин: несладкий желудевый кофе и тончайший ломтик хлеба с повидлом. Подумалось: «Этак протянешь ноги», – и я лег в эту чистую постель.

Утром опять принесли кофе и граммов сто хлеба двумя тоненькими скибками с прослойкой повидла. Но культурно – на тарелочке. Часа через полтора меня вызвали в ту же приемную комнату, велели переодеться в свое, вернули котомку с моим хлебом и опять повели через весь город.

Сняв с эшелона, меня поместили в городскую тюрьму, видимо, до выяснения личности, а в городской тюрьме обслуживание шло по другому разряду. Тогда при побегах нас даже не допрашивали, если ловили. Определяли по номеру на одежде – кого поймали и отправляли дальше в соответствии с инструкцией. У немцев все регламентировано, и порядок соблюдается во всем.

А теперь меня, вероятно, уже определенного по категории военнопленных, привели в сапожную мастерскую. Там работало семь душ нашего брата. Вид у ребят справный, сытый. Налили мне хорошей баланды литра три в кастрюльке, густой, вкусной. Хороший кусок хлеба. Переночевал вместе с ними. Все жили в одной комнате, у каждого койка, тумбочка.

Утром приходит их бригадир, то ли Жора, то ли Гоша, низенький с усами. Набросился на меня:

– Сопляк! Бегать не умеешь, а тут из-за тебя…!

Я озлился, схватил табуретку и фуганул в него. Он выскочил в дверь, табуретка – по двери и рассыпалась. Набежали ребята, стали успокаивать:

– Брось ты с ним связываться.

Жаловался ли на меня тот Жора-Гоша – не знаю, только часа через три за мной заявился конвоир и повез куда-то на поезде.

Поезд шел изгибом по возвышенной гряде. Внизу лежал совершенно разбитый город.

– Что это за город? – спросил я у конвоира.

– Вуппераль, – ответил он.

7

Привез меня немец в Литмат, штрафной лагерь особо строгого режима. Остаться у сапожников надежды не было. К ним меня, скорее всего, привозили пересидеть между тюрьмой и штрафным лагерем. Наказать за побег должны были непременно.

Литмат был небольшим лагерем, человек на семьдесят-семьдесят пять. Строгость сразу почувствовалась по поведению немецкой охраны и переводчиков.

В бараке мне ребята говорят:

– Попал ты в яму, откуда костей не унесешь. Отсюда живыми не уходят.

– А что тут делаете?

– Работаем на каменоломнях.

– Ну и как?

– Сам увидишь – как…

На этих каменоломнях добывали известняк и здесь же, на заводе, пережигали в негашеную известь. Ломали камень в трех карьерах, «Патернона», «Мария» и «Белле». Каждый карьер был, как стакан диаметром метров в пятьдесят и вертикальными стенками высотой под сотню метров. К каждому карьеру шел подземный тоннель с узкоколейкой. Паровозик-кукушка вывозил составы вагонеток с камнем на поверхность, к заводу.

Стену забуривали электробурами немцы-взрывники. Шпуры заделывали метра по три длиной. После взрыва стена осыпалась, вставала белая пыль. Если по верху карьера камень не обрушивался, взрывники добуривали, спускаясь сверху на канатах.

На дне карьера узкоколейка ветвилась, ветки подходили под стену с шагом метров в пятнадцать-двадцать. Сюда подгонялись вагонетки, в них мы должны были грузить камень. В карьере работало человек по двадцать-двадцать пять. Каждый на своем месте, у конца своей ветки.

Я попал в команду карьера «Белле». Утром команду вели на работу два охранника, сквозь городишко, по проезжей части шоссе. Норма была – погрузить десять вагонеток до обеда, с

восьми до двенадцати, и после обеда, с часу до пяти, – еще десять.

Нагрузил вагонетку доверху, снял с тормоза, толкнул – и вагонетка сама катится под малый уклон в середину карьера, где формируется составчик для кукушки. Пригоняешь с запасной ветки пустую вагонетку, ставишь на тормоз и снова…

Выработку считал немец-нестроевик Вилли. При входе в тоннель для него стояла будка. Он видит, что от моего, пятого, номера пошла вагонетка, и ставит в ведомости палочку. Вилли был туберкулезник, в годах, примерно лет пятидесяти. Ко мне относился с симпатией, может быть, потому, что я немного понимал по-немецки и мог при случае переводить. Потом, уже после карцера, он подкидывал мне то картошки, то хлеба. Сделает вид, что считает вагонетки, и незаметно подбросит еды. Говорил мне: «Ich bin kommunist».

Работа была тяжелая. Два-три дня после подрыва на погрузку шли куски полегче. Пока я был физически крепкий, в вагонетку, на высоту примерно метр двадцать, я мог поднимать камни пуда в три весом. Десяток таких камней – и вагонетка готова. Когда мелочевка кончалась, крупные глыбы надо разбивать кувалдой. Ее звали «гаммой», и весила она килограммов восемь. Чтобы работать с «гаммой», нужны были и сила, и искусство. Если правильно найдешь точку удара по плоскости, глыба рассыпается, как сахар. Если не повезет, глыба крошится с поверхности, оббивается в шар. В бараке, то и дело слышишь, жалуются: «Попались две глыбы – до обеда ничего не мог сделать».

Проработал так с месяц. Стал чувствовать, что с каждым днем теряю силы. Кормежка была, как везде, скуднейшая: утром в бараке – суррогатное кофе, сто граммов хлеба, двадцать маргарина. Обед привозили на кукушке в карьер – сто хлеба и баланда из полупрелой картошки со свекольными листьями, чуть плавает пшена. В баланде песок, особенно со дна. Вечером – хлеб, похлебка, немного макарон. Хлеба за день – триста граммов, пополам с опилками. Все в кишках спекается в древесную массу. Сходить по нужде – мучение. На шахте кормили так же, но работа была легче.

Думаю, надо бежать. Иначе – все! Стал обдумывать побег.

8

Тем временем, я подружился с лагерным врачом. Его звали

Володя Сазонов. Он был москвич. Я единственный в лагере играл в шахматы. Володя вечерами приходил ко мне в барак играть. Как-то сидим мы с ним, играем, а он говорит: «Отсюда никто не уходил, никуда не брали, никто не убежал».

Володя заведовал лагерной санчастью. В санчасти лечили, при температуре освобождали от работы, но питание оставалось лагерным. Кроме русских пленных, на заводе работали расконвоированные заключенные – итальянцы, французы, голландцы. Те получали продовольственные посылки от Международного Красного креста. Мы не получали ничего. За неделю в санчасти умирали один-два человека. Мертвецов заворачивали в красно-коричневую плотную бумагу и уносили в этом пакете. Контингент лагеря пополняли штрафниками – вроде меня.

Как и везде, внутреннее самоуправление было из пленных: переводчик, шесть полицейских, врач, два медбрата, повара. Обслуга делила хлеб и пищу, поэтому питалась получше, хотя тоже не жирно. Володя меня даже немного подкармливал.

В Литмате мы жили в стандартных бараках с отсеками купейного типа. С двух концов барака чугунные печи. Угля не жалели, топили круглые сутки. Все таки Рур. Я спал в одном купе с Иваном, родом из Рязанской области. Жалко, забыл его фамилию. Он был старше меня, года с восемнадцатого, типичный деревенский парень, белесый, веснушчатый.

Я все присматривал товарища для побега: одному бежать очень тяжело. Вижу, Иван – парень, хоть и малограмотный, но просоветский. Говорю ему:

– Сдохнем здесь, надо бежать.

– Как же, сбежишь…

– Люди из тюрем бегут, а тут нас водят по улице. Да хоть из под винтовки!

А потом у меня созрел другой вариант побега. Когда машинист кончал сцепливать вагонетки в составчик, то Вилли уходил в свою будку. Поглядывал изредка в окошко. Бдительности он не проявлял никакой – ставит только свои палочки. Машинист уходит к кукушке, Вилли скрывается в будке – в этот момент можно влезть, согнувшись, между вагонетками и выехать к заводу. А там – открытая территория, рядом гора, на ней лес…

Рассказал об этом плане Ивану. Говорю:

– Ставим жизнь на карту. Боишься – бегу один.

– Нет, – отвечает, – бегу.

– Но чтобы ни одна собака не знала – иначе выдадут.

Иван решительностью походил на Андрея Клименко. Без

Андрея я бы погиб. До него я был маменькин сынок: только учился да хлеб отцовский жрал. Он меня и спас, и смелости научил.

Мы с Иваном стали готовить побег. Поменялись местами и номерами так, чтобы наши ветки были рядом. Это зависело от Вилли, и он разрешил.

Выбрали удачный момент, прицепились между вагонетками и выехали через тоннель к заводу. Соскочили, вышли в город. Ходят штатские немцы – им до нас никак.

Стали пересекать шоссе к горе, а на куче породы около завода стоит итальянец, заключенный, в полосатой, серо-оранжевой одежде. Как он заорет: «Рус! Рус!» Мы перебежали шоссе в тополя, обернулись, смотрим: за нами бегут трое штатских немцев. Сначала двое схватили Ивана, а потом один догнал меня. У меня не было сил, я задохнулся и остановился сам.

Привели в лагерь. Не били. Пришли переводчик и комендант. Сказали нам, что будем сидеть две недели в карцере.

Карцером служила отдельная, под замком, комнатушка в нашем бараке. Из нее даже было слышно, как ребята разговаривают. Кто сидел в карцере, работал, как все, но не получал ужина, то-есть паек урезался чуть не в половину.

От этого я стал сильно слабеть физически. Десять вагонеток к обеду нагружаю с трудом, а к вечеру – как выжатая мочалка.

Утром ведут на работу – солнце восходит, ранняя весна. Думаешь: «Добраться бы до первого клочка родной земли – и там умереть. А тут – помрешь, завернут в красную бумагу – никто и не узнает».

Прожив и трудно, и счастливо еще долгих пятьдесят пять лет, Виктор умер 6-го мая 1998 года.

Тридцатого апреля мы с моей женой Музой привезли ему в Тверь сигнальный экземпляр этой книги. Виктор лежал, непостижимо бестелесный, как высохший скелет птицы. Я прочитал ему несколько страниц. Он остро вслушивался, повторяя про себя:

– Хорошо,… хорошо,… правильно…

Уточнил несколько деталей. Шептал:

– Хорошо, что приехали… Успели проститься…

Я говорил ненужные слова:

– Мы с тобой еще, Виктор,…

Он отвечал мне с интонациями педагога, претерпевающего безнадежную тупость, ученика:

– Игорь, ты не понимаешь… Я выхаркиваю остатки легких… Выплюну все – и умру…

Умиротворенно просветлел, когда его любимый внук Мишка

показывал нам, как хорошо он читает.

Устал… Отдалился… Прощаясь, я пожал его руку. Вместо жесткого – как доской защемило – Викторова жима едва ощутил его родной отклик…

Хоронили Виктора как он сам выбрал. В Сельце, под Старицей, на берегу Волги. Рядом с женой Азой Петровной. Тоже учительницей. Бесконечно снисходительной, иронично всепрощающей.

Собрались родичи, пришла вся деревня.

Шумел весенний ветер в кладбищенских соснах. Искрилась и плавилась Волга. Громоздился вдали обрыв ее противоположного коренного берега. Шуршал янтарный песок, стекая струйками в могилу. Доносились беспечальные клики Викторовых внуков, Мишки и Олега, убежавших к Волге.

Когда открыли для прощанья крышку гроба, голова Виктора лежала на подушке повернутой в свойястребиный профиль.

– Пусть смотрит на Волгу. Он сам так хотел, – сказал Владик Сумбатович Нерсесянц, Викторов зять, член Российской Академии по отделению государства и права.

Так его и похоронили.

За сим вернемся к Виктору, в его год 1944-й.

Приходит как-то к нам в карцер врач Володя, с переводчиком.

– Что, попался?

– Попался…

– Худо ваше дело, – и чуть смигнул глазом.

На другой день приходит он один, говорит:

– Для вас единственная возможность выбраться – покалечиться. Тогда я, быть может, смогу убедить коменданта перевести вас из этого лагеря.

Говорю Ивану:

– Надо калечиться.

– Нет, – отвечает, – У меня духу не хватает.

Я решил сунуть руку под вагонетку. Стал брать на работу полотенце, чтобы забинтоваться.

На собственном опыте я тут познал, что, когда слабеет тело, – слабеет и дух. С утра готов пихнуть пальцы под колеса, но тогда до конца работы изойдешь кровью. Надо давить последней вагонеткой. А к вечеру ослабел – и не можешь решиться.

День идет за днем. Совсем ослаб. «Гамму» поднять не могу. Десять вагонеток стал нагружать только к четырем часам. А пока не выполнишь норму, Вилли не нальет баланды.

И вот однажды стою без сил, упершись лбом в вагонетку. Вдруг меня бьют сапогом в зад.

Это был немец-инженер, который следил за работами и

появлялся на карьерах раза по три в день. Низенький, плотный, в крагах и кожаной куртке, сбоку пистолет. Он – мне: «Комм!» Это было в час-полвторого. Махнул: «В тоннель». Иду тоннелем, в голове плавают мысли: «Сейчас пристрелит в затылок, кинет в вагонетку…»

Впереди появился просвет: «Теперь не застрелит…» Вышли из тоннеля. Немец командует: «Направо». По тропинке взошли на холм, в который углублялся наш карьер. Впервые увидел все сверху. Внизу, на стометровой глубине, работают ребята, поглядывают на меня. Сильный ветер с мокрым снегом.

Немец поставил меня на краю пропасти и ушел. Я тут стоял с полчаса. Думал: «Может, лучше броситься вниз и покончить со всем».

Потом инженер крикнул снизу: «Комм!» Я спустился к нему в карьер. Он отвел меня на место и приказал Вилли не выпускать меня хоть всю ночь, если я не выполню норму.

Инженер ушел. Тут я решился. Выдернул у вагонетки тормоз и сунул руку под колесо. Вагонетка медленно сдвинулась и переехала пальцы.

Крайняя фаланга указательного пальца осталась на рельсе. Остальные были – сплошное мясо. Я туго замотал покалеченную кисть полотенцем, зажал ее подмышку. Работать не могу. Стою, согнувшись, около вагонетки. Мимо прошел Вилли, взглянул с сочувствием. Так я простоял часа полтора, до конца работы. Полотенце пропиталось кровью.

Робко пристроился к своей команде, когда ее выводили из карьера. Вилли меня не выгнал и отвел вместе со всеми в барак. Там, перед самым карцером, говорю Ивану:

– Беги к Володе, скажи: «Виктор покалечился».

Пришел Володя в барак:

– Ну, ты и разворотил. Надо было один палец и на левой руке, а ты – всей правой.

Взял ножницы: «Терпи», – и стал обрезать лохмотья мяса. Я потерял сознанье. Он мне сделал какой-то укол, перевязал руку, и я пришел в себя.

В сапоге у меня хлюпало. Я вылил чуть не полсапога крови и отправился в карцер. Там меня сильно зазнобило. Чувствую, теряю сознание. Говорю Ивану: «Стучи, зови Володю». Пришел Володя, поставил градусник – 38,6. Рука опухла. Мочусь в парашу – моча кровяная. Володя покачал головой: «Терпи до утра». Дал две таблетки аспирина. Приходит утром, щупает: «Ага! Не хотел тебе говорить, боялся – гангрена. Но, вроде, обошлось. Видишь, опухоль стала спадать. Это – воспаление».

Он перевел меня в санчасть. Здесь кормили, как всех, но на

работу не гоняли. Это было начало лета 44-го года. Через неделю Володя сообщает: «Все – в шахматы мы с тобой отыграли. Уговорил отправить тебя лечиться в Нордхорн».

Володя, оказывается, дня три уговаривал коменданта, тот все не соглашался: «Вылечим здесь – пусть поработает».

Наконец, комендант махнул рукой, и меня отправили в Нордхорн. Об Иване я больше не знаю ничего.

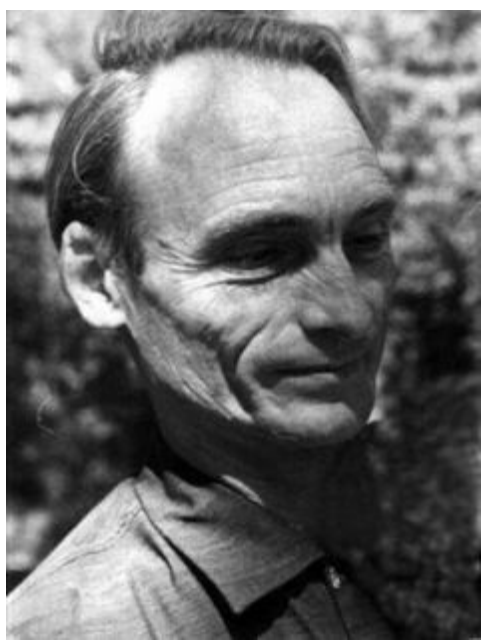
9

Нордхорн был лагерем тысячи на три для больных и калек, которых свозили со всего Рура. Иной раз пишут и показывают в кино, что немцы калек-пленных пристреливали.

Я такой литературе не верю. Честно говорю, особой грубости или жестокости со стороны немцев я не встречал. Им как-то было не до нас.

Жестокими, быть может, вспоминаются только садист-инженер на каменоломнях и комендант Нордхорна. Он ходил с овчаркой: «Фасс!» – и та кидается на человека.

Лагерь стоял в трех-пяти километрах от голландской границы на голых торфяных полях, на месте бывших торфоразработок.



Прямоугольник, огороженный колючей проволокой, по углам вышки. Два ряда по двадцать бараков. В одном ряду – калеки, в другом – туберкулезники. Как и везде, внешняя охрана немецкая, внутренняя полиция – свои. Русские врачи лечили и делали перевязки. В бараке жило человек по сто. Спали друг над другом на двухэтажных нарах, на тюфяках с соломой или стружками. Ходили – в чем нас привезли, в списанной немецкой военной одежде. На спине знак «SU».

После подъема к каждому бараку подъезжала кухня. К ней выстраивались каждый со своим котелком. Стандартная по всему плену баланда, двести граммов хлеба с кусочком маргарина. Хлеб с кукурузой, ячменем. Нормальным хлебом не кормили ни в одном лагере. Обед, ужин, отбой… Кормежка полуголодная, но лучше, чем в обычных лагерях. Работ никаких. Только из наших «увечных» бараков брали кого покрепче хоронить туберкулезников. В день умирало два-три человека. Их заворачивали рулоном в специальную красную бумагу, относили на поля и зарывали в одном месте. Захоронения не отмечали никак.

Между кормежками мы слонялись по территории, играли в самодельные карты и шахматы.

Потихоньку я узнал, что у пленных есть подпольная организация со своей агентурной сетью. Со мной поговорили: как попал в плен, как бегал. Приняли в организацию. Ей руководил, как он говорил о себе, старший лейтенант Иван. Незаметный мужичишка, русый, плотный. Хромал на одну ногу: у него была отбита пятка.

Планировалось разоружить охрану и бежать в Голландию: там отношение к пленным у населения было другое.

Но все изменилось. В наш лагерь прислали человек триста штрафников из власовской армии. Настроены яро антисоветски, в большинстве – украинцы. Все здоровые, упитанные по сравнению с нами, доходягами. Ходят в папахах, наглые, с немецкими наградами. Хвастают заслугами перед немцами, рассказывают, как в Крыму вырезали целые селения. Особенно выделялся один майор-летчик. Он жил как раз в нашем бараке. Расписывал свои похождения, показывал орден Красного знамени, который получил еще в Красной Армии, хвалился, как перелетел к немцам.

Власовцы попытались взять в лагере верх. Идет высокомерно такой в папахе, встретит калеку – походя ударит…

Иван собрал нас. Сказал: «Надо положить этому конец. Ликвидировать главарей у этой шатии». Сказал: «Ребята, надо душить. Куда деть – моя забота».

Власовцы были распределены по десять-пятнадцать на барак. В каждом бараке было человек десять-пятнадцать из организации. В нашем решили душить трех. Отрядили по три-четыре на каждого. Я был тогда дохлый, и меня поставили у двери, чтобы никто из барака не выскочил. Шел уже октябрь месяц, у двери топилась торфом железная печь. В топку сунули оружие для меня – железный прут.

С отбоем погас свет. Темнота. По бараку бегают блики от печки. Часов в одиннадцать в этой темноте раздался голос:

– Внимание! Должна быть полнейшая тишина. Кто закричит или попытается встать – будет убит.

Тишина воцарилась мертвая. Потом поднялась возня, сломались с хрустом нары. Кто-то кинулся к двери – я его ударил раскаленным прутом. Он шмыгнул обратно под нары – я ему добавил по заду.

Двух смертников придушили быстро, а летчик лежал на верхней полке и был такой здоровый, что отбился и спрыгнул с нар. Его поймали, захлестнули веревку вокруг шеи и закрутили веревку палкой. Когда рассвело, я посмотрел: лежит – синий, синий.

Утром пришли с носилками санитары и унесли всех троих закапывать как туберкулезников.

Как я сейчас понимаю, вся лагерная обслуга: полиция, переводчики, врачи были у Ивана в руках. Шел конец войны, те хотели реабилитироваться. Полицейские уже не били и не кричали. Придут: «Ребята, пора спать. Комендант недоволен».

Утром лагерная уборная была усеяна порванными документами, фотокарточками, немецкими наградами. Началась стихийная расправа со всеми, кто кого обидел или оскорбил. Как сейчас вижу, в умывальной двоих на полу топчут ногами. Один потерял сознание. Его сунули головой под воду и потом втроем с размаху об цементный пол задницей. У того и язык по пояс вывалился. В нашем бараке троих задушили и забили человек шесть.

После этого побоища уцелевшие власовцы притихли, папахи пропали, порванные документы валялись повсюду.

Немцы обо всем этом ничего не узнали. Внутренняя территория была отгорожена от наружного забора низкой колючей оградой. За нее не выскочишь, не пожалуешься. А по главной лагерной аллее ходит Иванова внутренняя полиция с палками. Иногда только по ней важно проходил комендант с

овчаркой.

В Нордхорне я пробыл месяца три. В ноябре к лагерю стали подходить англичане, и нас спешно эвакуировали. Калек разослали по разным работам. Что стало с туберкулезниками – не знаю. Меня в группе человек тридцать с двумя конвоирами отправили на сахарный завод в небольшой городок Линдген, юго-восточнее Нордхорна.

10

Новый лагерь был в полукилометре от завода, и порядки в нем были, как везде. Правда, дело шло к концу войны. Чувствовался упадок духа у населения. Охрана тоже ослабла, конвойные даже критиковали Гитлера. Лагерная кормежка стала еще хуже, но в ней не было нужды: мы здесь питались очень хорошо.

Часть пленных работала на самом заводе, а часть, транспортники, – снаружи. Я был в бригаде, которая грузила на складе «трокней» – сухие свекольные выжимки. Крестьяне, бауэры, за сданную свеклу получали деньги и этот жом. Кормили им скотину. Мы подавали транспортером мешки «трокнея» на склад и укладывали штабелями метров по десять-двенадцать высотой. Охрана, да и то не очень строгая, была только на заводе. Наружных вообще после работы не обыскивали. Мы договаривались с приятелями, которые работали внутри. Вечером, когда стемнеет, из назначенного окна выкидывалась кишка, сшитая из мешковины, килограмма на четыре сахарного песка. Ее можно было спрятать в штанах и вынести под шинелью.

Виктор показал, как проносили, сгорбившись и раскорячившись, этот сахар под накинутой на плечи шинелью.

Покойный Иван Алексеевич Шоманский, пастух из моей тверской деревеньки Любохово, человек высокого духа и абсолютной честности, рассказывал мне, что под конец своего плена он «так напакался», что мог вынести между ног бычью голову: «Накроешься шинелью, двое поддерживают под руки – как больного. Немцы народ простоватый, охлопает по карманам:

– Weg!»

Похоже, это был прием, широко известный среди нашего брата и недоступный пониманию немца.

Сахар припрятывали на складе «трокнея», его всегда было в запасе несколько пудов. Бауэры с удовольствием меняли сахар на

хлеб, картошку, сало и прочие продукты. Харч варили в бараках.

Стали появляться и другие радости. Как-то с бауэром приехала француженка. Ее спрашивают:

– Хочешь сахару?

– Хочу.

– А фиг-фиг?

Виктор изобразил кукиш, у которого большой палец препохабно ерзал между средним и указательным.

– Да-да, – ответила девица и поехала на транспортере на верх склада. Ей дали десять килограммов сахару. Это было не для меня.

После варшавского восстания на завод пригнали поляков, в основном, женщин. К нам на склад попали уборщицами три полячки. Я познакомился с Вандочкой. Мне было 23 года, ей 19-20 лет, очень складненькая. Сначала у нас были трали-вали, пустые разговоры. Но однажды в обеденный перерыв мы остались одни. В огромном полутемном складе. Сначала целовались, а потом поехали мы с ней на транспортере наверх. Дошло до серьезного. Пошла настоящая любовь.

При заводе работало много пленных иностранцев: французы, голландцы, поляки. Все были расконвоированные. Только русских угоняли вечером под конвоем в лагерь. А полячки жили в общежитии завода свободно, без охраны. Бывало, ребята смеются надо мной:

– Виктор, ступай к проволоке, тебя Вандочка зовет.

Бегу, передаю ей сахар в мешочке, а она его меняет, чтобы прокормиться.

Наша охрана слабела, и мы стали вечерами наведываться к полячкам в общежитие. У каждого появилась своя. Полячки жили по двое в комнате, за занавесочкой у каждой – кровать, столик.

Только завязался у нас с Вандой роман, прихожу я к ней – а там, полулежа на подушке, расположился Володька из конкурирующей бригады.

В нашем бараке к тому времени сложились две соперничающих бригады по восемь-десять человек: «Кривая оглобля» и «Рваный лапоть». Разделились непонятно как – не по тому, где спали и с кем работали. Какое-то стихийное молодое соперничество.

Ванда дает мне знак, что Володька пристает к ней. Я ему:

– Выматывай, занято!

Тот, развалясь, поддал меня ступней:

– Иди ты на…!

Я – на него, и пошла драка. А ребята уже разошлись по своим девкам. Володька был сильней меня, схватил за горло. Кто-то

увидел:

– Витьку бьют!

Сбежался народ, и началась сильная драка. Но в нашей бригаде главным был пехотный лейтенант Петька Патрушев, ростом под метр девяносто, сухой, широкоплечий, кулаки – с арбуз. Он всех раскидал, Володьку вышвырнул. Вечером собрал в бараке всех: «Что, и дальше будем драться? Нам делить нечего. Надо мириться». После этого мы сдружились и даже потом бежали вместе с Володькой. Вместе оказались в одном лагере у англичан.

11

На сахарном заводе мы проработали примерно до апреля месяца 45-го года. Вдруг нас, только русских, ночью, колонной человек 300—400 погнали на Бремен. Все наши польки и француженки остались. Проститься с Вандой я не успел.

Идем. Ночь. Охрана слабая. Мы отделились от колонны и залегли в кювет. Колонна ушла. Всю ее, как я узнавал, немцы в Бремене погрузили на баржи и потопили вместе с баржами в Балтийском море.

Это был мой последний за войну… Постой: первый – из Козловой Руды, второй – в Барберишках… – забормотал про себя Виктор, – выходит, восьмой по счету побег.

Нас было пятеро: я, Петька Патрушев, Петька Лузин, Сашка Косточка и тот самый Володька-конкурент. Решили идти напрямик на Восток, к нашим. Они, по слухам, были уже под Берлином.

С рассветом вышли к хутору. Большое здание из известняка, у дома выставлены для сдачи три молочных бидона по 36 литров. Поверху – слой сливок сантиметров в пятнадцать. Мы уже сильно проголодались. Армейской кружкой черпаем сливки, пьем – не можем напиться. Кто-то заглянул в подвальное окошко: «Жратвы полно!» Я был самый тощий и шустрый – полез в окошко. Чего только нет! Висят окорока, колбасы, по полкам банки. Я стал выпихивать в окошко окорок – не лезет. Выкидываю круги колбасы, банки…

Тут наверху послышались шаги, и – Бам! – выстрел из ружья. Я все побросал, выбрался в окошко. Уже рассвело. Своих никого нет. Вокруг поля и луга, поделенные проволокой на квадраты. Я вдоль цоколя дома пробрался в кусты. Думаю: хозяин соберет

соседей, начнут шарить. Увидел в лугах перелесочек, перебежал туда, залег. Слышу слабый разговор – наши.

– Витька, мы думали, потеряли тебя.

Я им:

– Сволочи, что ж бросили!

– А что было нам делать: он же стрелять начал.

Вокруг открытые места – идти нельзя. Дождались ночи, пошли. Опять кустарник. Слышим немецкую речь. Пригляделись – в перелеске стоят зенитки. Потихоньку отползли в сторону.

Пересекли Эмс-канал. Первым перебрался через него самый высокий из нас, Петька Патрушев. Ему было по грудь. Остальные шли за ним по горло, держа одежду над головой. Меня на бетонный парапет выдернули за руку. Вода холодная: шел конец апреля.

На рассвете второго дня мы опять схоронились. И тут мы услышали по репродуктору иностранную речь. О чем – мы не понимали, но от немецкой отличить уже могли. Это были англичане. Никаких деталей встречи не помню, все стерлось.

Мы очутились в центральном английском лагере для русских. Здесь было тысяч двадцать пять народу. Лагерь охраняли англичане, выходить не разрешалось.

В первый раз за войну нам выдали посылки от Красного Креста: в стандартном ящике галеты, банка тушенки, шоколадка, сигареты,… кусок хорошего мыла – держать его в руках казалось странным.

Все в лагере обзавелись оружием. Несколько раз к нам англичане обращались с приказом: «Сдать оружие». Никто не сдавал.

Стали ходить вербовщики в Бельгию, Голландию, Южную Америку, уговаривали записываться на временную работу и насовсем. Соглашались немногие. Помню, у барака для завербованных сидят четверо таких на своих котомках. Мы подошли: «Гады. Куда вы собираетесь!» Молчат.

В этом лагере рядовые и офицеры жили и столовались порознь. Раз сидим мы в офицерской столовой. Петька Патрушев говорит: «Видишь, через стол сидит то ли таджик, то ли татарин. Он в Линдгене приходил к нам во власовской форме, вербовал добровольцев во власовскую армию».

На следующий раз Петька подзывает его к нашему столу:

– Ты в Линдгене был? Нас не помнишь?

Тот, конечно, не помнит.

– А мы тебя запомнили. Ты, гад, ко власовцам агитировал поступать.

Тот начал:

– Ребята, я не по своей воле…

Петька ему:

– Пошли поговорим.

Лагерь был размером гектаров на тридцать. Один угол совсем заросший, ручей в пару комнат шириной. Пришли.

– Раздевайся, гад!

Тот упал на колени:

– Ребята, простите. Я не по своей воле…

Разделся.

– Иди!

Тот пошел по воде: кряжистый, шея и плечи – во. Сам черный.

Петька выстрелил – раз, другой… На спине пробрызнули две красных точки. Он завалился в ручей.

Еды в лагере было до черта. Все время лежала колбаса, ветчина, окорока большими кусками. Брали это у бауэров. Я по бауэрам не ходил.

Километрах в тридцати был спиртзавод. Кто-то организовал машину, привезли спирту – три шестидесятилитровых бачка. В таких бачках приносили в столовую еду. Крышка с резиновой прокладкой на четырех барашках, удивительная белизна изнутри. Смотришь сквозь спирт – видно кристально чистое дно.

Такой бачок стоял в бараке. Рядом армейская трехсотграммовая кружка. Петька подойдет, зачерпнет кружку – в другой руке стакан воды. Выпьет кружку спирта, запьет водой – хоть бы хны. Через пару часов повторит.

Устроили в бараке вечеринку. Запели. Я вместе со всеми. Я тогда не пил, не курил. Меня считали правильным, вроде комиссара, звали на «Вы». Все – совсем уже пьяные, разгулялись:

– Давайте Витьку напоим – чего он один трезвый.

– Не могу, ребята. Я же с вами пою.

А мне прихватили руки, загнули голову, открыли рот, стали лить спирт. Он попал в дыхательное горло, я стал задыхаться, чуть не потерял сознание.

Ребята видят – синеть начал. Отступились, положили на кровать. Меня вырвало.

Викторово повествование о запорожской вольнице в английском лагере живо напомнило мне рассказы Ивана Алексеевича Шоманского о его первых днях на свободе. Он из немецкого лагеря попал, как и Виктор, в английский.

Его первая еда на воле была яичница из тридцати реквизированных у бауэра яиц.

Такое же вольное беспредельное пьянство. Единственное отличие – пили не из бачков, а из бутылок.

Иван Алексеевич за свое, всюду сразу отмечаемое бескорыстие,

избран был разливающим. Он рассказывал:

«Приносят раз большую бутыль темного стекла с красивой наклейкой. Я разливаю всем нашим поровну, оставляя себе напоследок. Вдруг открывается дверь, входит английский солдат, наш охранник Боб. Все зашумели: „Налей Бобу“. Я отмерил и ему. И просчитался: у бутылки оказалось сильно вдавленное дно – мне досталось грамм пятьдесят. Выпили. Чуть времени прошло – у меня в глазах поплыло. Наши все повалились налево-направо, а Боб пополз на карачках. Тут я совсем ослеп. Когда опять стал видеть, узнал что в бутылке был метиловый спирт, и что вся наша компания уже на том свете, кроме меня.

12

В английском лагере, – продолжает Виктор, – мы прожили дней десять. Потом сюда приехал наш полковник. Англичан не стало. Внутреннее руководство поменялось.

Еще через два-три дня пришли грузовые машины, и по автостраде Ганновер-Берлин нас повезли на восток. Когда переехали мост на Эльбе, все кидали свое оружие. Выросла куча – в рост человека: больше револьверы и пистолеты, автоматы, холодное оружие. Потом опять по машинам. Проехали Берлин. Он был сильно разрушен. Прибыли в свой, русский лагерь. Это было числа 10-15 мая 1945 года.

В лагере нас стали проверять. В первый раз со мной беседовал молодой капитан. Часа три лояльно и корректно задавал вопросы:

– Кто, где, когда родился, как попал в плен, как можно то и то проверить?…

– Как, – отвечаю, – вот эти, Патрушев и Лузин, могут подтвердить. Они меня всегда комиссаром звали. Легко проверить, что был у Яцкевичей. Там даже все население считало меня комиссаром…

Недели через две вызывают меня во второй раз. На сей раз беседовал штатский. Разговор был на полчаса, уже без особых подробностей, только уточняющие вопросы.

А дня через три нас направили служить в воинскую часть, в Ратенов, в 118 километрах от Берлина.

В моей красноармейской книжке записано: «Был в плену с 10.8.41 по 9.4.45 года. Последнее место службы – 124 Пражская Т.А. орд. Ленина Краснознамен. о о. Суворова, Кутузова, Богд. Хм.

28/VII-1945».

В начале июня я написал первое письмо родителям. У них оба сына, я и Анатолий, пропали без вести в сорок первом году.

Через месяц получил от них ответ.

13

У войны много лиц. Есть война Алексиевич, война Константина Симонова, война Быкова и Астафьева.

Только что Виктор Лапаев провел нас по мрачному подземелью своей войны, с катакомбами плена, с муками, побегами, с неудержимым стремлением на восток.

Перед нами – завершение войны Игоря Косова.

Его война была разной. Вот сумасшедший монтаж 41-го года. Мельканье кадров, клочья ленты…

Его убивают несчетное число раз. Он поражает врага из автомата, из гаубицы Шнейдера, из своих ракетных установок, ножом, кулаком, арматурным железом.

Двадцатилетний лейтенант Игорь Косов с ватагой своих разведчиков бесстрашен, беспечен и бессмертен.

Одна умная женщина, прочитав его воспоминания 41-го года, сказала:

– Да это какая-то мушкетерская война.

Игорь Сергеевич не любил вспоминать о своей позиционной войне – на Волховском фронте, на Курской дуге, под Речицей. В его рассказах линяли краски, пропадал кураж. Это был изнурительный профессиональный труд артиллериста, постоянно нависающая опасность, тяжкая ответственность за дело и за свой дивизион – махину в сотню машин и полтысячи человек.

Опять вскипела кровь капитана Косова, когда война повернула на запад. В этой войне он был на лихом «виллисе» впереди своей грозной дружины. В глубоком рейде, далеко от начальства, под свист ветра и гром своих гвардейских минометных установок.

Об этом победном фазисе своей войны с Гитлером дальше будет рассказывать он сам.

Эту гиперболу я позаимствовал у Льва Борисовича Ястребова, долголетнего коллеги Игоря Сергеевича по исторической и редакторской деятельности. Военные сказания нашего героя он, любовно-иронически подшучивая, именовал: «Повесть о том, как Игорь Косов победил Адольфа Гитлера».

ГЛАВА VI
ГРОМ ПОБЕДЫ

И. С. Косов

1

44– го года из-под Речицы Летом нас перевели южнее Бобруйска. Мы участвовали в артподготовке нашего белорусского наступления – операции «Багратион».

Во время артподготовки трудно подавить самый передний край из-за рассеяния снарядов. Там остаются неподавленные огневые точки. Поэтому тактика артподготовки обычно бывает такой: налет, потом перенос в глубину. Немцы вылезают из укрытий в траншеи. Тут по ним опять налет на техническом пределе огня. И так два-три раза, с ложными переносами. Их пехота думает: «Ага, опять ложный…» И уже сидят по укрытиям. А тут наша пехота пошла.

Но 24 июня под Бобруйском сделали по другому. Был один мощнейший, на пределе техники, налет на 15 минут. И сразу за ним – мгновенная атака. Были подготовлены особые эшелоны пехоты, которые сразу, практически без потерь, захватили передний край.

Осталось много неизрасходованных боеприпасов. Их вывозили чуть не до 45-го года. Они выручили нас потом в Померании.

Уже к вечеру 24-го вся немецкая оборона рухнула. Часа в четыре-пять мы свернулись в колонны и пошли в прорыв. Мой дивизион был придан конно-механизированной группе Плиева. Обошли Бобруйск по гатям. В Озеровском фильме «Освобождение» эти гати были куда хуже наших. У нас они были заранее сделаны по секциям, и под прикрытием артиллерийского огня их быстро растащили по болотам. Руководил этими работами командующий инженерными войсками 65-й армии генерал Швыдкой. Очень простой мужик.

Сопротивления практически не было, встречались мелкие группки. Мы шли колоннами. Я шел за кавалерийским корпусом,

параллельно двигался 1-й Красноградский механизированный корпус Кривошеина. Взяли Слуцк. Тут было решено снять из под окруженного Бобруйска танковый корпус и держать окружение артиллерией. Мой дивизион послали назад на Бобруйск усилить кольцо окружения.

Идем к Бобруйску по булыжному шоссе. Середина дня, пора бы покормить людей. Смотрю – сбоку от шоссе, на поляне, стоят две тридцатьчетверки, ремонтируются. Вот тут и покормимся. Завернул к ним на поляну. Все забегали с котелками, карабины развесили по фермам установок. Привыкли, что нам ничего не делается…

Только расселись с котелками – с того края поляны встали и пошли на нас человек восемьсот немцев. Мы начали отстреливаться, да разве удержать бы их нам. Но танки повернули башни и стали сечь из пулеметов. По шоссе подошла пехота, и немцы начали сдаваться.

После этой истории у меня на каждой установке появился трофейный пулемет МГ. Это были хорошие машины, со стальными патронными лентами. У «максимов» ленты были матерчатые. Чуть отсыреют – беда. Когда потом под Люблином на нас наскочило человек четыреста власовцев, мы крепко из этих МГ всыпали им.

Подошли к Бобруйску. Стреляли по целям, которые нам дал штаб артиллерийской дивизии. Взяли город. Город был забит трофеями.

А нас вывели из него, придерживая для броска на Ковель. Тут, пока была передышка, мы отпросились у начальства за трофеями в Минск. Покатила сборная солянка на двух машинах: я, начальник штаба дивизиона Ваня Савченко, начальник связи дивизии майор Кобозев и другие.

Трофейнулись здорово: взяли штабной автобус, легковую «рено» бежевого цвета, консервы, спиртное, бумагу – не на чем было писать донесения. Выезжаем из Минска: захолустная улица, какой-то переезд. Я в автобусе за рулем, рядом Ваня Савченко. Еду первым. Ваня мне говорит:

– Комдив, немцы!

Третьим у нас был Давыдов, командир штабной батареи. Он усомнился:

– Да это, наверное, пленных гонят.

Ваня:

– Хороши пленные – с винтовками и автоматами.

Я стал разворачиваться. Автобус – громадный дизелюга. Бампером вышиб ворота, застрял, заглох. Давыдов выскочил через нас. Ванька – за ним, запутался в какой-то колючей проволоке,

упал, порвал все штаны. Немцы бегут к нам. Я стал стрелять по ним из пистолета. Это, конечно, как мертвому припарки, но действует – никто не рвется первым. Странно, но немцы не стреляли.

За нами ехали две наших машины «додж 3/4», «шевроле» и трофейная «рено». Нас похватали в «шевроле», и мы удрали.

Автобус жалко, жалко бумагу, выпивку… Мы подождали с час, вернулись к нашему автобусу. Он стоит нетронутый, немцев нет. Я сел в него включил стартер, задним ходом вылез из ворот, и мы покатили. Трофейная команда на грузовике пыталась меня остановить, но я наскакивал на них бампером, и им пришлось нас пропустить.

Штаб дивизии отпустил нас в Минск при условии, что мы с ними поделимся. Подъезжаем к штабу, ребята говорят: «Приедем, Дорофеев все отберет». Дорофеев был начштаба нашей 5-й дивизии, трудный мужик. Мы остановились, не доезжая до штаба, переложили из автобуса в свой «шевроле» бумагу, консервы, спиртное и, оставив «шевроле» сзади, поехали дальше налегке. Дорофеев спрашивает:

– А где же «шевроле»?

– Спустил баллон.

Как мы и ожидали, Дорофеев отобрал у нас автобус с оставленным для него барахлом.

Он сделал меня в это время начальником разведки в штабе дивизии. И тут почти сразу освобождается в штабе место начальника оперативного отдела. Дорофеев предложил его мне. Сильное повышение, не по моему капитанскому чину… Я взвыл, запросился назад, на свой, еще не занятый, дивизион. Дорофеев пригласил меня на ужин. Выпили по рюмке. Говорит:

– Я тебя понимаю: там ты сам себе хозяин.

Обещал отпустить. Я звоню своему командиру дивизиона Вальченко: так и так.

– Я высылаю за тобой машину, – тут же отреагировал он.

– Неудобно, приказа еще нет.

– Завтра будет.

И через час я уже ехал к себе.

2

После Минска у нас был большой марш километров на четыреста: Сарны, Ковель…

1– й Белорусский фронт, куда мы входили, наносил левым флангом удар на Холм-Люблин-Вислу.

В рейде взаимодействуешь чаще всего с танковыми соединениями. Перед Бугом мне понадобилось приехать в штаб 2-й танковой армии. Про командующего армией Богданова говорили, что он скор на руку. Я ему прощал: он до войны сидел. Начальник штаба Радзиевский говорит мне:

– Сейчас лучше не суйся. Он страшно зол.

Идем по лесу. Сумерки. Впереди Богданов, за ним свита, я плетусь в конце. Вдруг Богданов запнулся об какого-то младшего лейтенанта, сапера, тот сидел на корточках и в чем-то ковырялся. Богданов со злости – хлоп его по спине палкой. Тот выпрямился, оказался большущим мужиком лет сорока, и раз – командующего с маху по физиономии. Тот как стоял, так и сел. Сапер, узрев, отчеканил: «Виноват, товарищ генерал!» Богданов поднялся, сделал несколько шагов, крепко выругался и пошел дальше. Сапер стоял во фрунт. Свита почтительно огибала его в полном молчании. Два дня армия только об этом и говорила.

Во время этого рейда кормились только тушенкой. Ее звали «чикаго» или «второй фронт». В дивизионе у меня были здоровенные ребята – тихоокеанские матросы. Им мясо надо. А в Польше жутко расплодились зайцы: немцы отобрали у поляков охотничьи ружья. Поляки плакались – зайцы все обжирали. На одном ночлеге охотники взяли у меня «виллис»и отправились на промысел. Просыпаюсь – весь дивизион обдирает шкурки. Набили девяносто пять зайцев.

Позже мы останавливались в поместье Радзивиллов. Охотничьи угодья магнатов. Все охотятся, а я что – хуже всех? Лес чудесный. По всему лесу ковром – порнографические открытки. Остались от немецкой колонны, которую мы побили на подходе. У меня была изящная винтовочка, итальянский автомат «беретта», по сорок патронов в магазине. Я взял два магазина и пошел на охоту – шинель нараспашку. Ходил-ходил, никого не встретил. Назад идти – будут смеяться: «Охотник! Убил ноги и время». И тут я увидел две косули. Шарах-шарах – подранил обеих. Побежал за ними. Убил одну, потом вторую. А как их дотащить? Я волок их километров пять. Перетаскивал по очереди. Протащу одну косулю, брошу на нее шинель, пистолет, «беретту» – иду за другой. Метров за сто пятьдесят от дивизиона пришел, сказал: «Идите, принесите…». Ноги подгибались. Первый и единственный раз в жизни был в охотничьем азарте. Вылупив глаза: убить – и все! А там было и опасно: немцы шастали по лесам. Мы шли быстро и обгоняли их.

Течение рассказа о 44-м военном годе застопорилось под

Люблином, на немецком лагере смерти Майданек. Игорь Сергеевич долго молчал. Потом произнес: «Жуть…» Добавил: «Когда после этого нам повстречались власовцы…»

Игорь Сергеевич рубанул рукой. Я взглянул ему в лицо и отвел глаза. Неподвижный, почерневший лик. Мелькнуло: «Как у Горгоны…» Единственный раз, когда мне приоткрылось, каким он мог быть на войне.

Вспоминаю не записанный сразу эпизод. Не помню, когда это было и где.

В блиндаже допрашивают пленного немца. Он молчит. Тут входит Игорь Сергеевич: «Усталый, обледеневший, злой, как черт». Немец взглянул на него и быстро-быстро заговорил.

Мы вышли на Вислу в районе Казимежа. Наверное, в июле, если не в августе. На том берегу наша пехота уже захватила плацдарм – километр в глубину, четыре по фронту, Магнушевский плацдарм, с которого потом началась Висло-Одерская операция. Плацдарм держала 69-я армия Колпакчи. Красивый был мужик. Он погиб после войны – упал на вертолете.

Я выбрал роскошный наблюдательный пункт. С нашего крутого берега весь плацдарм смотрелся, как на ладони. Напротив – белый замок Яновец.

Каждый вечер мы купались в Висле. Только в темноте, и не плескаясь. Как плесканешь – по тебе с той стороны метров с трехсот – пулемет. По звуку – и точно стреляет, зараза. Потом навели мост. Раз я стою днем, соображаю, не искупаться ли. Тут подходит Колпакчи: «Капитан, искупаемся». И мы искупались.

Вокруг стояли брошенные, распахнутые дома. В одном нашел русскую библиотеку. Набил книгами полную бельевую корзину. За ними ко мне бегали со всей бригады. Прочитал на польском биографию Пилсудского. Я польский знал с нашего знаменитого киевского двора. Оказывается, сам Пилсудский и его старший брат судились по одному делу с Александром Ульяновым.

Задача тяжелых дивизионов, стало быть и моя, – подавлять узлы сопротивления. В одном узле бывает напихано до десятка противотанковых орудий, пулеметов. Надо присмотреться, понять, найти границы узла, выбрать выгодную дальность, позицию, сделать так, чтобы удобно было сменить позицию.

Сначала ничего не видишь, даже при большом опыте. Плохо, когда закрыто маскировочными сетями. Пустыня. Потом смотришь в стереотрубу, замечаешь: где ветки завяли, цвет другой… Начинаешь наблюдать за этим местом: «Я тебя все-таки увижу…» И вот заметил среди ветвей орудийный ствол. Очень хороша стереотруба: десятикратное увеличение, изображение не прыгает.

Когда говорят об опыте – это значит, что находишь правильное решение, хотя ничто не повторяется.

Под Казимежем я поймал роту немецких шестиствольных минометов, двенадцать штук. Перед минометами росли высокие кусты, и немцы рассчитывали, что ничего не видно. Звоню комбригу:

– Тут я вижу двенадцать шестиствольных.

Он был на меня сердит. Я провинился перед ним: нахально обманывал с бензином. Отвечает:

– Ты брось мне замыливать глаза с минометами.

– Но я же вижу!

– Валяй.

Я шандарахнул всем дивизионом – и что от них осталось…

Откуда видно, что попал? Да очень хорошо видно. Вот они стоят. Видно, как туда лег мой залп, – сплошной дым, а потом на этом месте одни ошметки.

3

В сентябре нас перебросили под Варшаву. Я шел вместе с танковой бригадой на Радзимин, в 23 километрах от Варшавы. Его в двадцатом году брал Тухачевский.

Шли перекатами. Первый шаг делают танки. Мы выходим к ним на высотку, занимаем место, смотрим. Танки с этого гребня идут на следующий.

На одном гребне я прошелся вбок и увидел сверху шесть «пантер», в кустах, примерно в километре. Я ударил по ним. Две «пантеры» сразу загорелись, одной срезало катки, а три ушли. Командир танковой бригады не понял, почему я стрелял, прибежал отлаять. Увидел в чем дело, ему стало все ясно.

«Пантеру» немцы пытались скопировать с нашей «тридцатьчетверки». Я за войну повидал всяких танков. На Волховском – английские «валентайн», «матильда», «черчилль» – очень неплохой танк. Видел американский «шерман» – ходячая мишень. Про немецкие и говорить нечего – насмотрелся. Первый «тигр» мне повстречался в январе 43-го под Ленинградом. Ехал в штаб, а у переезда в Жихареве стоит громадный танк. Потом после войны я в своей редакции познакомился с полковником Барышевым. Он мне рассказал как раз об этом танке. «Тигр» бросили немцы. Вроде, и цел был, и не увяз. Барышева прислали, потому что он умел водить немецкие танки. Когда он пришел,

танк был еще теплый, хотя стояли жуткие морозы. Влез, тронул стартер – танк завелся. Этот «тигр» стоял потом на трофейной выставке в Москве. Лобовая броня была пробита – как пальцем проткнута. Может быть, кого из экипажа убило, а другие сбежали…

Из танков той поры наш Т-34 был лучше всех.

Он очень много взял от предшественника БТ, тоже очень интересной машины.

Виктор Суворов, трепло и предатель по натуре, объясняет узкие гусеницы у БТ тем, что это был танк-агрессор для автострад Западной Европы. Это такая ерунда! Для БТ и не нужны были широкие гусеницы: он весил всего 13 тонн. Широкие гусеницы появились у Т-34 потому, что у него вес превышал 30 тонн.

Игорь Сергеевич воспринял книги Резуна-Суворова с негодованием и брезгливостью. С основательностью историка и редактора стал собирать передергивания в ссылках и цитатах. Фыркал на нелепости в профессионально-военных рассуждениях. Хотел писать что-то вроде рецензии, но не успел.

Право на такую категоричность в оценке резуновских писаний давали Игорю Сергеевичу четыре года войны и многие годы профессионального труда.

Захватывающе интересны были его исторические отвлечения.

4

После истфака МГУ я работал в архивах. Сначала в Астраханском. Помог пересылке редчайших армянских манускриптов из Астрахани в Матенадаран – армянское хранилище древних рукописей. Армяне за это меня сильно почитают.

Потом работал в 4-м отделе Центрального военного архива и засел в арке Лефортовского дворца. Там все с давних времен ужасно основательно: кожаные диваны, на стенах Верещагин… Мне велели разобрать архивы Варшавского военного округа. В 1914 году эти архивы вывезли из Варшавы, и с тех пор никто в эти дела не заглядывал.

Вы не представляете, как я увлекся. Я приходил на час раньше начала, уходил на два позже. Я не обедал. Тогда я был отчаянный курильщик, а в архиве курить нельзя. Так я выкуривал по две сигареты в день. Стал узнавать почерка всех трех офицеров, работавших в разведывательном отделении штаба

военного округа: полковника Батюшина и штабс-капитанов Андрющенко и Шевченко. Они работали, как каторжные, все документы от руки, машинке не доверяли.

Нахожу рукой Батюшина составленный «Список лиц, заподозренных в шпионаже против России». Вижу в «Списке» зубного врача Зильберфарба. А сам Батюшин выдавал ему разрешение на работу в Варшавском округе. Думаю, зубной врач работал на Батюшина, и тот рассчитывал, что список как-то попадет к австрийцам.

Часто говорят, русская разведка плохо работала. Ерунда!

В Вене в русском посольстве работал наш агент Марченко. Был ужасно ловок. Я докопался, что именно он завербовал австрийского полковника Редля, о деле которого пишут во всех книгах по 1-й мировой войне. Австрийцы Марченко знали, но никак не могли схватить за руку. Австрийские контрразведчики дошли до того, что уговорили эрцгерцога, наследника престола, Фердинанда (Сараевского) не подать руки Марченко на дипломатическом приеме. Тому пришлось уйти в отставку.

Открываешь «Дело» подполковника Заамурской пограничной бригады Ярослава Яцевича. Войска назывались Заамурские, а это были всероссийские погранвойска. Они носили зеленые фуражки, отсюда и форма наших пограничников.

Яцевич был наш агент в Австрии, попался, и ему дали четыре года.

«Дело» открывается письмом матери Яцевича командиру бригады. Просит помочь вытащить сына. У того плохое здоровье. Надо спасать.

Началась переписка. Командир бригады пишет в генштаб. Письмо попало в разведуправление – заместителю начальника Карлу Энке – потом стал министром иностранных дел Финляндии.

Летит телеграмма Леонтьеву, помначштаба Варшавского военного округа: «Прошу сообщить, какую ценность для России представляет подполковник Яцевич».

Ответная телеграмма: «…имеет особые заслуги перед Россией, представляет особую ценность».

А на территории Киевского военного округа как раз попался австрийский шпион, лейтенант, барон. Их и обменяли.

«Дело» кончается письмом матери к командиру бригады: сын дома, поправляется, благодарит…

Я видел много документов, прочитанных Николаем вторым. По пометкам была видна работа мысли, видно было, что умный человек. Короткие реплики: «Да», «Нет». Всегда карандашом. Пометка царя на оригинале покрывалась лаком. На копии в

соответствующем месте писалось: «Собственной Его Императорского Величества рукой начертано «Да». Царь раздражался на грамматические ошибки. Резко помечал их. Например: «По-русски говорят «Шол», а пишут «Шел». Так сильно подчеркнул ошибку, что сломал карандаш.

…В 15– м году великий князь Николай Николаевич из Верховных Главнокомандующих был понижен до командующего Кавказским фронтом. Первый смотр на новом месте. «Ура!» и прочее. Великий князь поравнялся с командой егерей на велосипедах. Обращается к правофланговому богатырю:

– Кем служишь, братец?

– Веселопердистом, Ваше императорское высочество!

Великий князь крякнул:

– Впредь будешь называться самокатчиком.

Вернемся вместе с Игорем Сергеевичем опять под Варшаву, в 1944 год, всего лишь на тридцать лет отстоящий от времени, в котором мы с ним только что побывали.

5

Под Варшаву мы вышли к Праге. Так называется предместье Варшавы на восточном берегу Вислы. Немцы удерживали здесь предмостное укрепление. Я поддерживал 1-ю польскую дивизию имени Тадеуша Костюшко. Мне однажды уже приходилось встречаться с ними на переправе через Буг. Стоит толпа, как всегда на переправе. Подкатывает какой-то генерал:

– Кто переправляется!?

– Дивизия Костюшко.

– Позвать сюда Костюшко!

Воевали поляки, вроде, ничего. Но наши вояки получше. Те ужасно разболтанные.

Часто слышу, что мы специально ждали, когда немцы подавят варшавское восстание. Это полнейшая чепуха! Чтобы помочь восставшим, надо было перейти на ту сторону Вислы. А на Вислу наши войска пришли обескровленными. В ротах оставалось по пятнадцать-двадцать человек. Шли из Белоруссии. Два польских полка пошли на наш плацдарм на той стороне. Я поехал их поддерживать. Зря поехал: ничего не видно. Развалины, кучи кирпича от самого берега. Эти полки пришлось уводить назад. Пытались помочь огнем, но на несколько километров в глубину ничего не видно.

Под Варшавой командующий артиллерией фронта Василий Иванович Казаков затребовал три дивизиона «себе под руку». Среди них оказался я и Петр Шмигель, мой друг, командир 1-го дивизиона 22-й бригады. Сидим – Василий Иванович и нас трое – ждем задачи. Василий Иванович сказал Шмигелю:

– Дайте, майор, огня вот туда и потом сюда. Если успеете дать за 15 минут оба огня, дам орден «Красного Знамени».

Шмигель ответил:

– Если это надо сделать за орден, поищите кого-нибудь другого.

Шмигель был из воспитанников колонии малолетних преступников Макаренко. После колонии кончил Харьковский университет по украинской литературе. Но потом решил, что выбрал неправильно специальность и пошел в военное училище.

Он привык к самостоятельным решениям, не боялся никакого начальства. Командир бригады как-то обложил его матом. Шмигель ему сказал:

– Товарищ полковник, я ведь ругаюсь матом получше Вас. Могу и ответить.

Тот извинился.

Удивительным было это предвоенное поколение. Оно чувствовало приближение войны и считало своим долгом встать в первую шеренгу.

Шмигель был смертельно ранен 13 сентября в Праге.

В книге «5-я Гвардейская Калинковичская» В.В. Гурова и А.Е. Иващенко об этом рассказывается так:

«В 13 часов 13 сентября командир 1-го дивизиона 22-й бригады майор П.Г. Шмигель получил боевую задачу сорвать контратаку врага. Развернувшись на одной из площадей города, дивизион быстро изготовился к бою. Не успело сойти по два снаряда с каждой установки, как противник открыл огонь. Один из снарядов попал в боевую установку. Раздался сильный взрыв. Был смертельно ранен командир дивизиона майор П.Г. Шмигель. Последними его словами были: „Молодцы, продолжать огонь!“

В разговорах Игоря Сергеевича он возникал неоднократно. Но какими-то странными, выпадающими из текста, фрагментами. Похоже, майор Шмигель был необычной фигурой, оставляющей зацепки в памяти при касании с ним.

Вот такой эпизод:

24 июня 44-го года. Утро Белорусского наступления. Туман. Вижу – идет человек, как бы в шубе. Подошел – Петька Шмигель. В самом деле, в шубе, и воротник поднят.

– Ты что – сдурел?

– А если мне холодно…

Почему капитан Косов в забитой людьми и техникой фронтовой полосе был так поражен видом майора Шмигеля, что вспоминает об этом спустя полвека – я понять не могу.

Еще случай:

Прошел после смерти Шмигеля год. Офицеры собрались его помянуть. Пригласили Василия Ивановича Казакова. Был такой разговор:

– Вот Вы так любили майора. Он хоть раз давал Вам по морде?

– Если б он мне не дал по морде – меня надо было бы отдать под суд. Больше у меня такого не было…

Записывая воспоминания Игоря Сергеевича я боялся излишней дотошностью в уточнениях сбить то перенесение в полувековую отдаленность, которое у него возникало. Смысл буквально воспроизведенного здесь офицерского разговора остался для меня темен и многозначен.

Почему генерал, командующий артиллерией фронта, пришел помянуть одного из бесчисленных своих, неизмеримо отстоящих по рангу майоров? Что переворачивало жесткую субординацию между ними? Чем был обязан В.И. Казаков майору П.Г. Шмигелю? Спросить уже не у кого. Система понятий и отношений людей того времени уходит вместе с ними.

6

Осенью 44-го фронт встал по Висле, последнему водному рубежу перед Германией. Началась яростная борьба за плацдармы – крошечные пятачки земли по обоим берегам, перепаханные железом и пропитанные кровью.

В конце сентября нашу бригаду из под Праги бросили севернее Варшавы. Мы пытались сбить немцев с плацдармов за Вислу. Но ничего не вышло.

Вообще, место было паршивое: ни одного наблюдательного пункта на земле. Соорудили НП наверху – площадку на дереве. Сидим на дереве я и Женька Шамзон, начальник штаба моего дивизиона. Он очень любил петь, но слуха никакого – медведь на ухо наступил. Терплю, терплю, потом ему:

– Кончай, а то спрыгну.

Женька Шамзон ездил с шофером – таким губошлепом. Раз мы входим в штаб. Тот сидит на табурете – охраняет штаб. Спит, положив приклад винтовки промеж ног, стволом упершись в

стенку. Женька как саданет дверью. Тот как жахнет с перепугу из винтовки и выронил ее. Надо же, патрон у него был дослан, и палец лежал на спусковом крючке.

На моем «виллисе» был шофер Федоров. Никогда в жизни не встречал такого ругателя. Длиннющий, высунет голову над брезентом машины, выдаст этакую потрясающую руладу, что все на дороге расступаются. Ему не нравилось ездить с начальством. Все нудил: «Отправьте меня на боевую машину, отправьте…». Я его и поставил, как только освободилось место. Свою машину он накрывал громадным ковром наизнанку, как попоной. Под Штеттином, у Альтамма, были у нас ужасно противные бои, как зубная боль. Мой дивизион стоял в лощине, немец стал лупить по нему бризантными. И колоссальный взрыв – сдетонировали все снаряды Федоровской машины. От машины остались только чулочки от заднего моста. А сам он уцелел: сидел в ровике. Не разговаривал и не ругался недели три. Однако же сумел очень смешно двумя ладонями передразнить лопоухого Шамзонова шофера.

Мы готовились наступать, а в бригаде ни одного снаряда. Комбриг собирает вечером: «Все транспортные машины – под боеприпасы. Командирам лично возглавить». Ехать надо было на станцию Целув. Я повел свои машины не одной колонной, а побатарейно. Везли туда пустые ящики из под снарядов. Один ящик под один снаряд. Их ставят в кузов на попа и связывают. Едем. Впереди шпарит «студебеккер». Взлетели на мост, за ним крутой поворот над обрывом. Я проскочил поворот – нет «студебеккера».

– Разворачивайся!

Подъехали к краю обрыва, осветили фарами. Внизу стоит «студебеккер» на колесах. Я сбежал вниз, открыл дверь. Шофер сидит, зажмурившись, вцепился в руль. Я ему говорю: «Выезжай», – молчит, ничего не слышит. Потряс – он пришел в себя. «Студебеккер» кувыркался через ящики, но поломал всего один-два.

Немцы закладывали на шоссе фугасы с кислотными взрывателями. Раз я ехал по шоссе, за мной в метрах пятидесяти – чужой «ЗИС-5». Под ним сработал фугас. «ЗИС» пролетел метров пятнадцать и упал на спину. От кузова ничего не осталось. Что самое удивительное – шофер остался жив.

Погибнуть можно было в любой момент. Однажды Митя Мартынкин, майор, командир дивизиона из чужой бригады, позвал меня умываться к речушке рядом с нашей траншеей. Я стал снимать гимнастерку и застрял в ней. Митя и мой начальник разведки Кочарян пошли к воде. Тут рванул снаряд. Я им кричу

из траншеи: «Ребята, идите назад. Надо переждать». Они отмахнулись. И тут – еще один снаряд! Мите осколком отрубило руку. Он как раз зачерпывал воду руками из ручья. Кочарян стоял рядом, держал мыло. Ему осколок попал в висок…

Мы начали наступать на немецкий плацдарм. Но у них тут оказались дивизии СС «Райх», «Герман Геринг», «Мертвая Голова» и венгерская кавалерийская дивизия. И они нам вмазали! Контратаковали так, что я видел немцев рядом с собой, метрах в ста. Я бросил к черту свой НП и уходил, унося стереотрубы и приборы. Немцы прихватили нас на ровном месте, некуда было скрыться. За нами шли немецкие цепи, здоровенные жлобы из дивизии «Герман Геринг». Их артиллерия вела вал впереди пехоты. Глохнешь, забивает уши, удушающий дым от тротила…

Вместе с нами был капитан Варенко, командир 3-го дивизиона из нашей 16-й бригады. Ему осколком сзади, под лопатку, пробило грудную клетку. Я его волок с полкилометра. Пока нес спина к спине, ему в ногу попала пуля. Он меня этим спас. Принес – он уже мертвый. Можно сказать, умер на моей спине.

Женьку Шамзона ранило четырьмя осколками. Он был здоровый, как бык, шел сам.

Варенко был очень остроумный и талантливый человек. Отлично рисовал. Еще под Казимежем сидим мы как-то на груде камней. Варенко набросал мой портрет.

– Нарисуй и меня, – пристал к нему А. А. Косов, Косов большой, в отличие от меня – Косова маленького. Варенко стал рисовать. Я взглянул: свинья в майорских погонах. Захохотал и ссыпался с камней вниз. Комбриг Петр Иванович Вальченко заметил мне:

– Ты что – голову сломаешь.

Я ему шепчу тихонько:

– Посмотрите, что Варенко рисует, только сами не сломайте голову.

Комбриг полез на камни, рассмеялся и сам загремел с этих камней.

За полчаса до смерти Варенко показывал мне свой препотешный ребус.

Вообще, на войне сам не знаешь, почему остался жив. Тут же, на Висле, выхожу я из блиндажа. И совсем рядом в траншею… Траншею!!! – немецкий двухсотдесятимиллиметровый. Меня подняло, шваркнуло об дверь и забило обратно в блиндаж.

Две недели не слышал, не говорил. Ходил с блокнотом. Наш врач, Петя Волков, пьянь страшная, пишет: «Тебе надо выпить». Надрались мы с ним так, что я ночью бродил по лесу, не мог

найти палатку. Почему-то вылез на дорогу. Там на меня наскочил командир бригады Вальченко. Рассвирепел страшно. Привел в дивизион, всех раздраконил, велел за мной следить. Могли пристрелить свои же часовые: ведь я ничего не слышал. А комбриг меня любил.

Так немцев здесь мы и не сбили. Сил не хватило. Роты были обескровлены.

– Смысл? Какой смысл – было приказано…

7

А в октябре нас направили еще севернее, на Наревский плацдарм, к самой любимой нашей армии Батова. Этот плацдарм был на той стороне Вислы. Немцы пытались сбить нас в Вислу. Мы оборонялись. Было очень тяжело. Немцы бросили много танков.

Они начинали с артподготовки, потом шли танки. Моей задачей было ставит заградогонь. У меня там был шикарный НП, с которого все прекрасно проглядывалось.

Приходит ко мне авиационный полковник, командир авиационной штурмовой дивизии:

– Капитан, пусти меня к себе. У меня ведь нет солдат, как у тебя, рыть окопы некому.

– Пожалуйста, – говорю.

Получилось очень хорошо. Я накрываю огнем танки. Он видит, что я делаю, и добивает авиацией остатки. Над полем всегда висело десять-двенадцать, а то и больше штурмовиков в группах. Они выстраиваются пеленгом, заходят на танки… Видишь, как они сыпят, сыпят, буквально засыпают танки ПАБами – противотанковыми авиационными бомбами. Каждый штурмовик – по 600 килограммов полутора-двухкилограммовых кумулятивных бомб. А потом заходят снова и добивают из пушек. Штурмовики – это страшная вещь! Стоит танк – целый, а сверху дырка, и внутри все выгорело.

У меня был приятель, Павлик Ферапонтов, командир эскадрильи штурмовиков. Он говорил, что летчик переживает в среднем пять самолетов. Павлик садился и на мелколесье. Говорил, когда начинают ломаться деревья, надо бросать управление и упираться в приборную доску, «чтобы не испортить благородный профиль».

Он вывел раз группу на населенный пункт. «Эрликоны»,

скорострельные зенитки, бьют так – сил нет. Зашел, сбросил бомбы, попал на церковь. Слышит по переговорному: «Ах, батюшки!» – стрелок ахнул, молоденький мальчишка, верующий. А вокруг – такой ералаш! Отлетели, Павлик спрашивает:

– Ты это чего?

– Так по церкви…

Штурмовики крутились под траекториями снарядов. Я раз видел, как 152-миллиметровый снаряд взорвался на крыле штурмовика.

На этом Наревском плацдарме нам здорово досталось. Немецкие танки проскакивали поверху. Тут, если дождешься пехоты, все, кто в траншее, – погиб. Начинаешь отходить. Я со своей командой: пятнадцать разведчиков, шесть связистов, четыре радиста. Они все следят за мной, команда не рассыпается. Если надо – отстреливаются. Хлопцы удивительно дисциплинированы в этот момент, как в окружении. Что кому ни скажи, сразу выполняет, морды недовольной не сделает.

Когда прижмут к реке – народ звереет. Никто уже ничего не боится. А немцы – выдохлись. Им бы надо перекурить, а времени нет. Офицеры и сами уже отключаются.

А у нас у самой воды всегда находится офицер, который поднимает в контратаку. Все рванут за ним, и, совершенно непонятно, – немцы бегут. Бегут до своих траншей, отстреливаются…

Интересна эта психология атаки – контратаки. И у немцев, и у нас – то же самое.

Сбивали нас к реке раз по семь в день. Все перемешано. Орудия прямой наводки бьют. И грязь страшенная! На сапогах пуды.

Бои на Наревском плацдарме шли несколько недель. Жуткие бои. После все вернулось в исходное положение. Битые танки на поле – и наши, и немецкие. Помню спуск к реке. У нашей «тридцатьчетверки» разворотило весь перед. Катки отлетели. Рядом лежал могучий обгоревший танкист. И вокруг, метрах на четырехстах, штук пятнадцать наших танков. От 1-го Донского танкового корпуса ничего не осталось. Его растрепали в дым. По всему плацдарму торчали сгоревшие «тридцатьчетверки».

Сравнивая немецкие танковые дивизии Курской дуги и Наревского плацдарма, видишь две большие разницы, как говорят в Одессе. На Курской – дивизии были на сто процентов укомплектованы, здесь – не было комплекта. И были уже не те экипажи, совсем без прежней настойчивости.

Правда, мучили нас немецкие самоходки «фердинанды». Очень удачная у них и у «тигров» была 88-миллиметровая пушка,

переделанная из зенитки.

На Наревском плацдарме меня ранило. К этому времени немцы уже выдохлись. Утречко было чудное. Я пристреливал репера для переноса огня. У меня был шикарный 10-кратный «цейс». Вообще-то от бинокля очень устаешь, но у меня накопился уже такой опыт, что я поднимал бинокль в момент разрыва и смотрел сразу в точку, куда падал мой снаряд. При любой артподготовке я слышал свой снаряд и даже промах влево-вправо определял по звуку.

Так вот, поднял я бинокль, и тут по шее у меня поползла букашка. Я отнял руку от бинокля и ее – хлоп. В этот момент в бинокль ударил осколок и перерубил его. Разрыва я не слыхал. Мне повезло: если бы не отнял руку – отрубило бы пальцы, если бы не бинокль – со святыми упокой.

На миг потерял сознание. Очнулся – все красное. Мне разбило лоб, переносицу, под глазом. Это место, оказывается, очень кровяное.

Меня отвезли в госпиталь, зашили. Госпиталь был в Вышкуве, в имении Соловьева, бывшего царского посла в Испании. Поляки имение конфисковали, так как Соловьев остался в Советской России, работал в Наркоминделе. Роскошный дворец в три этажа. Шикарные панно. Там я лежал с месяц.

Потом бригада должна была уйти, и комбриг Вальченко забрал меня из госпиталя. Сказал мне:

– Ты больной. Живи здесь.

Дал мне две комнатки при штабе бригады. Но ко мне повадилась штабная молодежь. Тогда Вальченко рассудил так: «Раз ты так веселишься, поезжай в свой дивизион».

Поехал. Дивизион стоял тогда в Попово-Костельно при Нареве. Я прибыл как раз перед 7 ноября 44-го года.

Там же стояла бригада днепровской речной флотилии. И вот эти сопляки носят тельняшки, а мои, из тихоокеанского флота, – ходят в зеленом. Испортили мне весь праздник.

Сижу, выпиваю – прибегают:

– Товарищ капитан, там ваши дерутся.

Я выхожу – тут же перестают драться.

Возвращаюсь, наливаю – опять бегут:

– Товарищ капитан, там опять ваши подрались.

Перепил один офицер из флотилии. Стал задирать моего начштаба Ваню Савченко. Мы вызвали морячка в садик, Ваня как врежет ему – тот нырнул в подстриженные кусты. Мы постояли, постояли – ушли. Потом пришли посмотреть – его уже нет. Видать, унесли.

После этого нас отправили в резерв фронта, а потом на Магнушевский плацдарм южнее Варшавы, с которого началась Висло-Одерская операция.

Скоро наступать, а у нас – ни одного снаряда. Снаряды грузили на станции польского городка Ласкажева. Комбриг послал меня подогнать подвозку. Еду через Ласкажев, вижу – стоит «студебеккер» с опознавательными знаками моего дивизиона. А я им говорил: «Нигде не задерживаться. Сразу на станцию».

Подъезжаю – стоит выпивший старшина моего дивизиона Торгашев. Я на него:

– Мерзавец, уже выпивон начал! Ты что тут делаешь?

– Торговая операция.

Объясняет, что нашел где-то в лесу склад немецкого крахмала в мешках из крафтбумаги. И сейчас пригнал машину крахмала какому-то торгашу-поляку. И тот уже грузит нам бимбер, сало, колбасу.

– А Вы, товарищ капитан, зайдите-ка пока в комнату.

Захожу. Выпили бутылочку бимбера и скушали фаршированную рыбу – первый раз за войну.

Ординарцем тут у меня был Постников, архангельский помор. Абсолютно невозмутимый, никогда не бегал – только трусцой. Раз я ему говорю: «Постников, принеси горячей воды голову помыть». Выхожу из блиндажа по пояс голый. Он льет мне на голову, мылю, мою. Намылил во второй раз – вода кончилась. Постников с ведром поспешил трусцой на кухню метров за триста. Морозец. Я, с намыленной башкой, чуть из штанов не выпрыгиваю.

Вся бригада со смеху каталась, вспоминая, как я голову мыл.

Я его сделал командиром орудия. Был хорошим командиром, а ординарцем – так себе.

Здесь мой дивизион понес большие потери. С одной из огневых позиций мы дали залп по узлу сопротивления. Собирались дать второй. Сзади нас стояли 160-миллиметровые минометы. У них неполное сгорание зарядов, и при стрельбе они осыпали нас фонтанами огненных брызг. Этих минометчиков засекли, и по ним издалека ударила 210-миллиметровая батарея. Все шло с большим недолетом и, в основном, вмазало нам. Я потерял 18 человек, самых хороших ребят. Они первыми повыскакивали из укрытия перезарядиться для второго залпа – их и накрыло. Я был на НП в восьмистах метрах и все видел.

Перед Висло-Одерской операцией дни сперва стояли кислые, а потом ударил мороз.

Наступление началось 14 января 45-го года. После войны немецкий военный историк Меллентин так писал об этой операции: «Европа не знала ничего подобного со времен гибели Римской империи».

Мощная артподготовка – еще затемно. Рассвело – пошла пехота вместе с танками прорыва. Фронт был прорван. Под прикрытием нашего огня в прорыв двинулась 1-я танковая армия, махина в 800—1000 танков, колоннами, по шоссе на запад. Немцы уже не стреляли. Танки проскочили линию фронта, поле и километра через полтора напоролись на вторую линию обороны. Танки стали рассредотачиваться по полю. Снег, грязища… Командующий 8-й Гвардейской армией В. И. Чуйков приказал: «Дайте огня всеми дивизионами». Мы в открытую развернулись на поле. Немцам было не до нас. Установки были уже заряжены. Дали залп по лесу, по обе стороны шоссе. Это был единственный случай, когда я видел залп всей бригадой. Один дивизион стрелял через меня. В таких случаях, если некуда укрыться, народ прячется под машины. Мало приятного. Я стоял между машинами, и меня здорово отлупасило камнями с яйцо.

Немцы по сторонам шоссе были растрепаны этим залпом вчистую. Один наш разрыв с двухэтажный дом, воронка – метра два глубиной и пять-шесть метров в диаметре. В залпе дивизиона 140 снарядов, а здесь стреляло четыре дивизиона.

Мимо нас полем двинулись танки. Совсем рядом 300—400 машин. Страшная гарь от солярки. У танка две выхлопных трубы. Как взревет – дышать нечем.

Нам повезло – выскочили на шоссе раньше танков, и они нас не зажали. Танки шли колонной впритык друг к другу. Мой дивизион был придан танковой бригаде. Был приказ: «Вперед и все!»

Гнали весь день по шоссе на запад без боев. Сначала был со своей танковой бригадой. Потом практически ее потерял. Впереди оказались только две танковые роты. Я шел за ними впереди своего дивизиона на «виллисе». За мной – «додж-3/4» с охраной. Немцев не видел. Наверное, они уходили от шоссе. Мы гнали на Познань.

Сильно похолодало. Шоссе покрылось льдом. Думаю: придет полдивизиона. Я прозяб до синевы: не одел ватные штаны. Штаны ехали сзади, в штабной машине. Когда стало совсем невмоготу, сказал шоферу: «Сворачивай к первому жилью».

На окраине городка километров за тридцать до Познани свернули к дому. У крыльца дома осветился фарами мотоцикл и

два немца. Солдат возится с мотоциклом, рядом стоит офицер – руки в карманах. Я выскочил из «виллиса» с парабеллумом. Они подняли руки. Заходим в дом: коридор, дверь, открытая в комнату. Там пылает кафельная печь. Я сел в кресло спиной к кафелю, отогреваюсь. Офицер стоит передо мной. Пытаюсь говорить с ним. Вдруг он бьет ногой по креслу, подцепил кресло ногой и опрокинул меня вместе с ним. Я – головой об кафель, он – в коридор. Я выскочил за ним и метров с пяти из парабеллума – раз его (Игорь Сергеевич хлопнул себя по затылку).

Я так и не привык стрелять по человеку. Всегда остается осадок.

Прибежали хлопцы, обыскали его. Нашли «вальтер», штук шесть золотых часов и целую связку золотых колец на проволоке. «Ах, ты, – думаю, – зараза». Стало легче. Смотрю на золото. Что с ним делать?

– Евсеев, – спрашиваю, – сколько у тебя детей?

– Трое.

Даю ему три кольца… Так раздал все.

Был у нас в дивизионе стукач. Перед этим он докладывал начальству, что я раздал солдатам пятьдесят тысяч офицерской премии «за сохранение тары». С согласия офицеров, разумеется. И про это золото настучал. Меня вызывает командир бригады. Оказывается, был приказ: золото – сдавать. Я говорю комбригу:

– Так что, мне золото отбирать у солдат назад?

Тем дело и кончилось. Я добавил комбригу:

– Уберите стукача от меня, а то он погибнет «смертью храбрых».

Через неделю его у меня не было.

Спустя полчаса после истории с офицером подошел мой дивизион. Мне так и не пришлось надеть ватных штанов. Они отстали вместе со штабной машиной.

Двинулись дальше. Минут через сорок под самой Познанью наткнулись на аэродром. Небо уже стало сереть. По аэродрому бегают фонарики. Видны силуэты самолетов. Некоторые уже рулят. Командиры моих танковых рот, лейтенанты, говорят: «Сейчас мы их!» А на фоне неба уже видны зенитные батареи вокруг аэродрома. Я показал лейтенантам на них:

– Ребята, видите зенитки. Сунетесь – от вас только катки полетят.

Развернул дивизион и жахнул по этим батареям. На аэродроме началась такая паника! Один самолет пошел на взлет метрах в ста пятидесяти-двухстах от нас. Моторы на предельном форсаже, из патрубков бьет зеленое пламя. Одна «тридцатьчетверка» ударила по нему, попала в бомболюк.

Грохнул страшный взрыв. Рядом со мной упал громадный кусок металла. Больше стрелять не пришлось: вся охрана аэродрома разбежалась.

Мои орлы– танкисты воодушевились:

– Сейчас пойдем на Познань.

Я их урезонил:

– Куда вы, вас там сразу пожгут.

И сели мы на аэродроме. Немцы боялись нас и не высылали даже разведку. Мы боялись их и тоже ничего не разведывали.

Я был чином выше танкистов. Держал себя уверенно, стал распоряжаться:

– Два танка поставить к дороге на Познань. Послать туда командира взвода.

Три танка поставили у офицерского казино, где мы расположились.

Мы сели в казино за стойкой и сидели так, пока не подошла танковая бригада. Набор напитков и закусок был бесподобный: яблоки, шоколад, конфеты, анчоусы, колбасы и сыры разнообразнейшие – французские, итальянские… Все солдаты ходили под газами.

Я больше всего боялся: перепьются, а там полно официанток и всякой женской обслуги… Всех этих баб, человек восемьдесят, велел загнать в казино и выставил свою охрану. Немки сначала очень перепугались, плакали, потом успокоились: видят – их не трогают. Мы для них были существами другой породы.

Комротам– танкистам я сразу сказал:

– Если ваши ребята начнут кобениться – смотрите сами…

Один командир роты, худенький, интеллигентный, быстренько забалдел. Второй был хваткий, цепкий такой, но меня побаивался. Танков было пятнадцать, их против нас было мало. В своих я был уверен полностью. Танковая бригада подошла только к вечеру. А свое начальство я увидел дня через четыре в Познани. Мой комбриг Петр Иванович Вальченко, когда пришел в Познань, нисколько не удивился, увидев меня. Ему нравилось, как я водил дивизион. Побатарейно, с интервалом в десять-пятнадцать минут. Иначе получается такая гармошка…

Окружили Познань. Выбили немцев из города, загнали их, тысяч сорок, в крепость – Цитадель.

Аэродром мог принести большие неприятности. А теперь наши летчики имели аэродром, даже с бензином. Пикировщик Пе-2 взлетал с аэродрома, даже не убирал шасси, высыпал на Цитадель бомбы с двухсот-трехсот метров и шел назад. И так – карусель целый день.

Мы шастали по городу. В Познани размещались немецкие

тыловые базы. Все попало к нам. Взяли много трофеев: хорошие офицерские сапоги, кожаные, непромокаемые – для шпор штрипка, черные суконные эсэсовские брюки – застегиваются снизу. Спрашиваю комбрига:

– Можно надеть суконные брюки?

– Можешь, если оденешь весь дивизион.

Я и одел. Вывез три «студебеккера» коньяка «Мартель блю». Снабдил всех своих приятелей. Завел хрустальные фужеры: зеленые ножки, каждый со своим звоном. Жалко, быстро перебились…

События в Германии начала сорок пятого года развивались столь же динамично, как у нас в сорок первом. После окружения Познани основная часть наших войск, танки и мотопехота, пошли вперед занимать плацдармы на Одере. Мы остались на блокаде Цитадели. У нас было пехоты раза в три меньше, чем у немцев, но гораздо больше артиллерии. Если бы они смогли собраться в кулак – прорвались бы. Наша задача была – не дать собрать этот кулак.

Цитадель была выстроена давно, еще в средние века. Эспланада была уже застроена, и крепость обступили более высокие дома. Я сидел в номере на пятом этаже десятиэтажного отеля «Остланд». Отсюда просматривался весь двор Цитадели. Я видел, как немцы сосредоточиваются под воротами. Методически накрывал это место огнем. Немцам ни разу не удалось даже попробовать пойти на прорыв из Цитадели. Огневая позиция дивизиона была на местном воинском плацу. Солдат-телефонист сидел в кресле, перед ним на телефонном ящике – выпивка, закусь. Я звоню. Он кричит: «Расчет! К орудию!» Солдаты прямо из окон казармы прыгают на плац – стрелять. А в казарме уже и девки мелькают: немки, польки…

В отеле мы расположились по-барски. По одну сторону коридора, в номерах, выходящих на Цитадель, – наши НП, в номерах, выходящих во двор гостиницы, жили мы. Очень неплохо жили. Каждый вечер пили «Мартель» с французским шампанским. На столе – огурцы, лимоны, косуля, бекон. Нам готовили свои повара: местные разбежались. Осажденным в Цитадели немцам ночью сбрасывали самолетами мешки. Большая часть попадала к нам. Там были хорошие консервы.

Мне дали на ночь Стендаля «Красное и черное». Я за ночь выпил бутылку «Мартеля» и полбутылки «Шартреза». Здоровый тогда был. Есть тогдашняя фотография: такая сытая, довольная морда. По дивизиону ходили «Три мушкетера». Книжку разодрали на три части и по очереди читали. Свет был от аккумулятора для подводных лодок. В Познани оказался завод таких

аккумуляторов, и один стоял у нас во дворе.

10

Такая приятная жизнь продолжалась недолго. Немцы из Померании шестнадцатью дивизиями ударили вдоль Одера по нашим коммуникациям. Могли отрезать наши части, идущие на Берлин.

Я, как уже говорил, после войны выпускал книгу Антипенко, зам по тылу у Рокоссовского. Он мне рассказывал, что Жуков решил нанести встречный удар, а боеприпасы были на исходе. Жуков бесновался, говорил самому Антипенко, что расстреляет его. Вся надежда была на боеприпасы, которые остались неизрасходованными в Белоруссии после операции «Багратион». Поезда с боеприпасами оттуда шли так: вдоль железной дороги летали У-2, садились и регулировали движение.

Меня бросили на этот встречный контрудар. Со всей бригады собрали боеприпасы – дали в мой дивизион, слили весь бензин – мне. И я погнал навстречу немцам. Когда я подошел под Реец, у меня была неполная заправка и всего на два залпа снарядов. Я дал один залп, и тут подошли поезда с боеприпасами из Белоруссии. Весь парковый дивизион бригады работал не на четыре дивизиона, а только на меня.

Тут мы с ходу нанесли встречный удар, разрезали немецкий фронт и пошли к морю.

После Померании, примерно в начале февраля 45-го, нас перевели на Одер. Сперва стоял на этой стороне реки и стреляли по тому берегу. Я жил здесь в блиндаже с перилами.

Соорудил его мой ординарец, Федор Иванович – ярославский плотник. Он все делал одним топором, даже ложки точил. «Для блиндажа, – сказал, – дайте одного солдата, бревна поднимать». Ему было лет сорок. Меня опекал, заботился, бурчал, если что было не по нему. Держал меня в строгости. Я его звал по имени-отчеству. Он был баптистом и человеком чистейшей души.

Случилось мне съездить в соседнюю бригаду, к папеньке – орден обмывать. Сдуру поехал на лошади. Нахлестался… Ехал назад – с лошади падал, задом в грязь. Приехал, зову:

– Федор Иванович!

Тот идет, бунчит:

– Не может сам слезть…

Утром боюсь открыть глаза. Федор Иванович чистит шинель,

ворчит: «И куда его только носило… и т. п.»

Стояли мы в немецком городке. Федору Ивановичу понадобилось прострочить мешочек на швейной машинке. Пошел вниз к хозяйке, немке лет тридцати пяти. Прибежал, разъяренный, в чем дело – узнать невозможно. Говорю замполиту:

– Пашк, об Федора Ивановича спички можно зажигать. Узнай, в чем дело.

Тот умел подходы делать. Пришел, чуть не лопается от смеха: Федор Иванович, придя к немке, показал на пальцах что ему надо. Та сняла трусы и легла на диван.

11

На той стороне Одера был наш плацдарм, очень маленький. Его отчаянно атаковали немцы. Мы их доставали, но на пределе дальности. Тогда два дивизиона, и мой в том числе, на мотопонтонах перекинули туда. Обошлось все спокойно: немцы не видели. Вдоль Одера по обе стороны шли дамбы от наводнений. Я сидел на НП на дамбе. Место неприятное: все время под огнем.

Четырнадцатого апреля была разведка боем. Наши передовые батальоны пошли вперед. Немцы решили, что это – главное наступление, бросили передовые траншеи и отошли на основные позиции. Мне стало легче. Я выбрал отличный НП – на языке, выступающем к немцам. Огневые позиции дивизиона были прикрыты хутором. В ночь с 15 на 16 апреля мы там отлично выспались на соломе.

Шестнадцатое апреля было днем последнего за войну, Одерского, наступления. Артподготовка началась затемно. Я видел много за войну, но такого не видел. Я сидел на своем НП, выступающем вперед. Обернулся. Когда ночью бьют батареи – вспыхивают зарницы. В этот раз весь горизонт горел факелом. Сижу на фанерке. Передо мной – график артподготовки по минутам. Ее начала я заранее не знаю. Буква «Ч» – час атаки. Начало артподготовки «Ч – 120 мин.» После артподготовки артиллерия переподчиняется по соединениям.

Я подавлял узлы сопротивления. На последней минуте артподготовки моей целью был противотанковый узел на кладбище. В момент последнего залпа правее цели метрах в двухстах должен был проходить наш танковый батальон. Я заранее нашел командира батальона, предупредил, чтобы они

шли точнехонько справа. Комбат сначала натыркивался: «А мне наплевать!» Я ему сказал:

– Если ты попадешь под мой залп, тебе нечем будет плевать.

Потом мы с ним договорились.

Моим залпом на кладбище узел был вышиблен начисто. Оттуда не стреляли. Одно 88-миллиметровое орудие немцы, разобрав стенку, вкатили в часовню. Мой снаряд попал под переднюю стенку. Рухнули своды, остались две боковые стены, орудие лежало на спине. Оно бы натворило бед.

Танкисты прошли очень точно. Я это видел в стереотрубу по танковым выхлопам. Батальон дошел до Альтлевена, не потеряв ни одного танка.

Пошла пехота. Быстро вклинилась в передний край. А у меня часам к двенадцати дня кончились все боеприпасы. Левый берег Одера низкий. Все изрезано осушительными канавами. Огороды. Я заранее выбрал путь подвоза. Предупредил командира взвода подвоза Старорусского, чтобы не проявлял инициативы и ехал, как я сказал. А он захотел по-своему, попал меж канав, пришлось возвращаться и ехать по моему пути. Подвез снаряды в последнюю минуту. Я сильно волновался: доказывай потом…

День этот 16 апреля стоил мне очень большого нервного напряжения. Такие ночь и утро, да еще оболтус этот! Зато была хорошая погода, и немцы меня здесь не ждали. Я был для них неплановый: новые батареи всегда выскакивают за план.

Потом двигались хорошо. Взяли Врицен, потом Брюнау, севернее Зееловских высот. Тут нас снимают с Брюнау и бросили на Берлин. По дороге на нашу колонну налетели «фокке-вульфы»: их использовали и как истребители– бомбардировщики. Восемь штук. Стали клепать голову колонны. Я свернул своих в лес, сам выскочил на «виллисе» на опушку, смотрю прямо из машины. Вдруг – летят два наших Лагг-7. Первый прямо с хода всадил в брюхо выходящему из пике «фокке-вульфу». Его напарник шел слева, грациозным пируэтом перестроился вправо и точно таким же приемом влепил второму «фокке-вульфу». Остальные бросились врассыпную.

В Берлине мой дивизион действовал в одиночку, на Берлинераллее, выходящей на Силезский вокзал.

Я сначала устроился в бомбоубежище, в подвале. Темно, все расчерчено флюоресцирующими стрелками. Там было душно, и я перебрался на второй этаж. В комнате стоял кожаный диван, его кто-то отодвинул от стены. Я лег на диван, заснул. Проснулся от грохота. Пыль, все сыплется, в углу комнаты – дыра с метр. Сюда попал снаряд. Меня защитила спинка дивана, побило только камушками. Переехал в другую комнату.

В городе паршиво воевать. Вы не видите противника. Все вперемешку: немцы – мы.

Там была маленькая улочка Книпродештрассе. Я ее разнес. Как начал разваливать с одного конца, так и шел вдоль по ней по направлению к Франкфурталлее. Немцы были через улицу в тридцати метрах. Мы втаскивали ящики со снарядами в дом и били из окон прямо из ящиков в дом напротив. Давали в залп сразу снаряда по четыре. Взрыв ужасно бьет по голове. Взрыватели ставили на мгновенные, иначе они разбивались и не срабатывали. Стена после этого обрушивается метров на десять. Получается дом в разрезе – и там молчание. Прелестно! Немцы поняли, что это худо. Перебрались из домов в скверик, окопались. Я их там накрыл ночью из установок. Скверик маленький – каша. Они бросили все.

Трудно было со снарядами. Их надо было подвозить через железную дорогу в выемке. Поверх выемки был мостик. Но чуть шевельнешься – с балконов почем зря лупят 20-миллиметровые «эрликоны». У меня был шофер Марфутенко, его солдаты звали Марфуша. Говорит:

– Можно я попробую через выемку? Если застряну внизу, вытащат на тросах.

Сел в машину, взревел и выскочил наверх. Не видел бы – не поверил. Немцы злились страшно: по мосту попадают, а по нему – угол дома мешал.

Вокзал Силезский был рядом. Купол без подпор. Как утро начинается, командир бригады Вальченко меня вызывает:

– Игорь, тронешь вокзал, голову оторву!

– С чего это Вы решили?

– Я тебя знаю…

А у меня и в самом деле руки чесались. И хоть я никому об этом не говорил, но комбриг меня знал. Если б он меня не предупреждал, за себя не ручаюсь, может быть, и бабахнул Что мне на этот вокзал – молиться? Тем более, нигде мы не были так бесконтрольны, как в Берлине. Уж очень динамичный был бой. И такая шла стрельба… Да даже если бы и попал по вокзалу – ничего бы мне за это не было. Вальченко не дал бы меня в обиду.

Вокзал очень меня завлекал. Красиво было бы его завалить.

Это было бы так, как потом – на стрельбах осенью 45-го года. Тогда уже темнело. На фоне заката темным силуэтом рисовалась башня ветряной каменной мельницы. И от нее брызнуло огнем при прямом попадании на первом же моем пристрелочном выстреле. Это было так красиво!

Вокзал долго не мог взять стрелковый полк, который я поддерживал.

Рано утром, часов в шесть, я умывался. Снял гимнастерку, мне поливают… Подходит Коля Солодовников, мой помкомвзвода разведки.

– Товарищ капитан, немцы ушли с вокзала.

– Ты что врешь!

– Точно говорю, я сам там был.

Одеваю гимнастерку, пошли. Ходим по платформам. Стекло купола все осыпалось. Только мы высунулись с вокзала, нас обстреляли. Говорю Коле:

– Рассыпь своих разведчиков, чтобы немцы не пришли назад.

Иду к командиру полка, бравшего вокзал:

– Подполковник, хочешь вокзал?

– Кончай трепаться.

– Давай, я тебе – вокзал, а ты мне – коньяк.

(Он только что трофейнул грузовик с коньяком и меня уже угощал.)

Подполковник вознегодовал:

– Да пошел ты!

А я ему:

– На вокзале только мои разведчики. Посылай своих.

Днем приходит ко мне солдат с ящиком.

– Вот, комполка прислал.

А я уже и забыл.

Этот коньяк мы заедали шоколадом с кондитерской фабрики, что была рядом. Там шоколад застыл в лотке с метр шириной. Мы его кололи киянкой и набивали в ведро. Он быстро надоел. Днем мы тем и поддерживались. Еду засветло подвезти было невозможно: били снайпера.

В этих боях я чуть было не подзалетел. Идем из штаба бригады к Франкфурталлее: я, Иван Иванович, зам. командира 1-й батареи и разведчик. Проходим маленький вокзальчик Лихтенбергбанхофф. Вижу, лежит один наш солдат, другой – убитые. Говорю:

– Иван Иванович, куда-то не туда идем.

– Я тоже так думаю.

Остановились. Тут по нам как ударит из пулемета. Мы кинулись назад. На углу врыта по башню «пантера». Иван Иванович – слева, разведчик – справа, я – рыбкой сверху. И сразу за мной по башне резануло: «Тю-тю-тю». Точно бил, но чуть опоздал.

В 71– м году еду по Берлину с двоюродной сестрой Ниной и ее мужем Карлом Шпайзером к ним на дачу. Затормозили на перекрестке, как раз где «пантера» была зарыта. Я показываю:

– Карл, тут меня чуть не убили.

Можно было схватить и от своих. Где-то в эти дни вижу – шпарит по Берлинераллее прямо к немцам «форд» с шофером и девкой-санинструктором. Их обстреляли. Они выскочили – и под машину. Пошел их выручать, а девка как шарахнет в меня с перепугу из карабина – пуля чуть ухо не оторвала. «Ах, ты…!» – вытащил ее, а она закатила истерику. Я не знал тогда, как это прекращать.

Рано утром 23 апреля 45-го года я сидел на чугунной тумбе для привязи лошадей. Так устал – не могу. Сполз на тротуар, пригрелся на солнышке, дремлю. Такая хорошая погода. Подходит ко мне пожилой штатский: «Господин штабс-капитан…» «Нет, – отвечаю, – у нас нет штабс-капитанов». Оказалось – эмигрант из Чернигова. Я его позвал к себе в гости. Правда, были на этот раз у нас одни котлеты. Мы долго беседовали.

Числа 29 апреля нас в Берлине снимали кинооператоры. Им нужно было показать сверху, как стреляют «катюши». Во всех берлинских хрониках эти кадры есть. Дело было на Антонплац. На нее больше батареи не поставишь. Я завел оператора на балкон второго этажа. Он прицелился камерой, я махнул рукой. У нас из-под ног шарахнул огонь. Оператор выронил камеру, кинулся в комнату. Хорошо, что камера висела на ремне. Пришлось зарядить второй раз. Я встал в дверях, чтобы его не пускать. Но тут он уже не побежал. Этот оператор снимал залпы и с земли. Недавно я видел этот залп в кино. Потрясающее чувство – вернулся на 50 лет назад. Я тогда стоял рядом с оператором и увидел на экране точно то же, что и тогда.

Меня в кино снимали дважды. В первый раз – Роман Кармен. С моей позиции тогда было видно, как маневрируют немецкие танки. Он увлекался, все лез на бруствер. Я его, как мог, удерживал. Услышал свист снаряда – пришлось сбить его с бруствера. Он все понял, не обиделся.

Последняя сознательная цель была у меня 30 апреля: стрелял по берлинскому полицайпрезидиуму. Дал два залпа километра за три с половиной, снарядами УК – улучшенной кучности. После второго залпа начали обрушиваться перекрытия, и немцы стали сдаваться.

В 71– м году спрашиваю:

– Тут должно быть здание красного кирпича,

– Убрали развалины в прошлом году, – отвечает Карл.

Последний раз на войне я стрелял 30 апреля. Звонит комбриг Вальченко в двадцать минут четвертого, практически 1 мая.

– У тебя много снарядов. Вываливай все, что только можешь.

Я с одной позиции дал три залпа. Обычно с одного места мы стреляли только один-два раза. Но сейчас бояться было нечего.

Немцы уже выдохлись. Их батареи не отвечали.

12

На следующий день 1 мая немцы стали сдаваться. Выкинули простыню, грязную такую… Стали выходить.

Среди офицеров я был самый приличный с виду. Фуражка с околышем, брюки новые, правда, красные от кирпича. Командир стрелкового полка, которого я поддерживал, был хуже меня одет. Совсем другие условия жизни. Он мне сказал:

– Ну, иди.

Меня почистили. Я встал. Пошел к немцам. Показал, куда складывать оружие.

Немцы были мрачные. Держались очень сдержанно: подошел, бросил в кучу винтовку или автомат – отошел, бросил – отошел.

Вели колонны пленных. Мирные немцы стояли на тротуарах, женщины плакали. От всего этого осталось очень сильное впечатление.

Немцы еще яростно оборонялись на Одере. В Берлине – гораздо слабее. Самый хороший кадровый состав был уже выбит. У нас было то же самое. Уже в 43-м году командиры батарей были куда слабее, чем в 41-м.

Простая вещь – звукометрическая разведка. В Берлине рядом со мной стояла 122-миллиметровая гаубичная батарея. Командир батареи жалуется:

– Немцы меня засекают. Что делать?

Я ему объясняю:

– Тебя засекает звукометрист. Видишь, глухой брандмауэр? Поставь батарею перед ним, и немцы будут хватать отраженную волну.

Он сделал, как я сказал. Встречается радостный:

– Ты знаешь, немцы бьют, но ошибаются метров на двести.

После первого мая уже не воевали. Хотя стрельба еще шла. У меня там был «адлер», черная спортивная машина с красными колесами. На такой ездил Штирлиц. На два задних сидения надо было залезать через откинутый верх. Мы звали эти места «гауптвахта». Первого мая едем мы – я за рулем, мой начштаба и сзади два командира батарей, Юрка Мозеш, о котором я рассказывал, и Гулидов – «Тимофей Гулидей, не пугай малых детей».

Выезжаем на Принцлауэраллее. Вижу, на первом этаже, в

двери балкона солдат яростно машет руками: «Куда…!» Ехать надо было влево – я круто выворачиваю вправо. За нами – ударили из автоматов. Очереди высекают искры из брусчатки. Я ныряю влево в переулок. Там – баррикада. Попал бы в нее – все, но я вывернул во второй переулок.

Второго мая ехал по Берлину Илюшка Забодецкий, мой однокашник по училищу, и погиб от «фаустпатрона» Он был заместителем командира истребительной противотанковой бригады. Был такой проказник! У него были замечательные глаза.

После второго мая нас вывели под Берлин, на Рубинерканал. Там меня и застал конец войны. Восьмого мая я ездил по делам. Приехал поздно ночью, усталый, злой: обстреляли бродячие немцы. Говорю ординарцу Федору Ивановичу:

– Хочу есть. И принеси чего-нибудь выпить.

У нас были стеклянные чашечки граммов на сто пятьдесят. Выпил одну, лег и заснул прямо на ковре в палатке.

В четыре часа утра поднимается пальба. А я сплю, не могут разбудить. У меня был приятель, командир дивизиона, Володя Азбукин. Приходит: «Фельдшер, ватку, нашатырный спирт». Сунул мне под нос, я вскакиваю:

– Какая сволочь!

Слышу из– за палатки:

– Я… Бить не будешь?

Тут началась такая пьянка! Продолжалась до следующего утра… Помню, днем какие-то артисты выступали… Перед ними на траве лежат – все окосевшие, смотрят… Мои орлы добыли бочку вина. Достали из подвала. Бочка, лежа на боку, мне под подбородок. Вино хорошее, крепкое… Подъезжает к нам на «виллисе» американец. На машине – громадное красное знамя, и откуда только взял? Мои архаровцы упоили его вдрызг. Он с нами даже вприсядку плясал.

13

Потом нас перевели в Кохштедт. Поселились в казарме зенитчиков. Жили шикарно: комната на отделение, никаких двухэтажных нар. При входе в туалеты: «Fur mannschaften», «Fur unteroffizieren»… – для команды, для унтер-офицеров. Нигде подчиненный не увидит офицера без штанов.

Пошла обычная армейская жизнь. Командир бригады стал нас дрессировать:

– Скажи, что твои солдаты ели на обед?

– Не знаю, товарищ полковник.

– Вызываю уже четвертого командира дивизиона – никто не знает. С завтрашнего дня назначаю дежурство по столовой,

Каждый четвертый день приходилось сидеть в столовой. У меня там завелась даже своя пивная кружка.

В это время нам как-то задержали выдачу немецких денег. Я посетовал:

– Зря мы тогда, Федор Иванович, выбросили деньги.

Мой ординарец, Федор Иванович, отвечает:

– Как так выбросили?

Достает чемодан, набитый пачками по сто марок.

Этот чемодан с деньгами мы нашли во время боев в Берлине. Я тогда велел Федору Ивановичу деньги выкинуть, а шикарный чемодан лакированной кожи – оставить.

На эти деньги мы потом прекрасно жили. Курева – на весь дивизион, питие, икра… Быстро все проели и пропили.

С концом войны комбриг отобрал у меня двухдифферный «шевроле». Я ему об этом все нудил, хотя у меня без того было 92 машины.

Раз приезжает комбриг. Мы стоим навытяжку, рапорт и т. п. Вдруг комбриг поворачивается и уходит в лес. Мы, командиры четырех его дивизионов, не знаем, что делать. Командир третьего дивизиона, мой друг, Гриша Калинин, говорит:

– Раз не было команды разойтись, идем за ним.

Метров через двести в лесу комбриг стоит перед двухдифферным «шевроле» на козелках. Машина набита по уши всяким барахлом, на боку – номер нашей бригады. Комбриг:

– Косов!

– Слушаю, – отвечаю я.

Комбриг:

– Не с тобой разговариваю!

А у нас в бригаде было два Косовых. Тот был ужасный барахольщик.

Другой Косов отзывается, что-то плетет… Комбриг:

– Косов!

Я молчу. Комбриг ко мне:

– Я с тобой разговариваю! Заберешь машину со всем добром.

Повернулся и ушел. Гриша шепчет мне:

– Беги за шоферней. Я постерегу.

Я позвал своих, столкнули машину с козелков, пригнали к себе в дивизион. Чего только там не было. Коньяк, сигары… Ну, этого добра и у нас хватало. И еще сукно – штуками. Этого я уже совсем не понимаю.

А у нас как раз старички демобилизовались. Я говорю дивизионному старшине:

– Режь каждому демобилизованному по три метра.

Вечером сидим с Гришей, пьем коньяк, курим сигары. Входит тот Косов, начинает канючить насчет коньяка и сигар.

Я приказываю:

– Налить майору рюмку коньяку и дать сигару.

С тем он и ушел. Гриша потом мне сказал:

Если бы ты дал ящик – убил!

Мы с Гришей крепко выручили его в Берлине. У него перепился в лежку весь дивизион. Так всегда: жестокий командир – его и не любят. У меня никогда такого не бывало. Комбриг держится за голову: надо стрелять, а некому. Ему бы тоже влетело. Я говорю комбригу: «Давайте мы с Гришей будем стрелять по его целям». И целый день молотили и по своим целям, и по его.

Вообще, в Берлине пришлось много стрелять…

14

Главком оккупационных войск был Г. К. Жуков. Ему понадобились офицеры для особых поручений. Дали список.

– Обозначьте, где эти офицеры служат сейчас, – потребовал он.

Оказалось, много штабных. Георгий Константинович перечеркнул список красным карандашом.

– Вы мне не подсовывайте штабников. Дайте боевых офицеров из частей.

Так я попал в новый список. Сначала меня прикомандировали к бразильской военной миссии. Приставили к бригадному генералу с именем в две строки. Дали денег, переводчика: «Смотри за ним».

Он очень быстро понял, что без меня – никуда. Куда бы он ни приехал – видел меня. Возненавидел жутко.

Мне стало грустно: то ему охоту устраивай, то веди его в ресторацию. Упросил убрать меня, хоть к чертовой матери.

Меня прикомандировали к генералу Лукьянченко в отдел «Реституция советского имущества».

Мотался в разные места, по разным делам.

Об этих местах и делах Игорь Сергеевич высказывался туманно.

То оказывался причастным к Дрезденской галлерее, то досадливо морщился при упоминании курдской проблемы.

Рассказывал всякие истории.

Поздно вечером вызывает меня генерал. Являюсь: кабинет, стол, на столе груда драгоценностей. Колье, перстни, браслеты,… – золото и бриллианты. От люстры все играет и переливается. Генерал говорит мне:

– Видишь?

– Вижу.

– Бери саквояж, ссыпай, отвезешь в Свинемюнде.

Дает мне кожаный саквояж. Сгреб я в него все со стола.

– Товарищ генерал, а как же без описи. Надо бы опечатать.

– Вези.

Повез на «мерседесе». Со мной две машины охраны. Саквояж держал на коленях. Тяжелый, зараза, больше десяти килограммов. Онемели ноги. Привез, сдал морякам, как было велено. Вернулся обратно: двести верст туда, двести обратно. Являюсь, доложил. Спрашиваю:

– Товарищ генерал, как же Вы это мне без описи и печати?

– Ты что, себе взял?

– Нет.

– Ну, вот, я же тебя знаю.

Когда я в первый раз поехал в зону, мне выдали 500 долларов. Возвращаюсь, иду к начфину:

– У меня осталось сто долларов.

Тот воззрился на меня, как на сумасшедшего:

– Не знаю, как это оформить. Доложу начальству.

Вызывают к Лукьяненко:

– Игорь, ты что – с ума сошел? Тебе дали, чтобы истратить.

– Так остались…

– Иди и трать.

Из Балтики в Черное море переводился отряд кораблей. Они по пути заходили в Монте-Карло – заправится горючим, едой. Мне дали задачу – снабдить их там всем необходимым.

Я ехал в Монте-Карло через всю Европу на своей машине, с шофером и переводчиком. С гостиницами проблем не было. Платил только долларами. Был страшно богат.

В Монте– Карло ждал кораблей две недели. Взял, как рекомендовали, лучшие номера в гостинице. Разгуливал в белом, штатском. Ходил в оперный театр, в игорный дом. Они в одном здании – совершенно симметрично. В рулетку на казенные не играл. Видел там Эдуарда восьмого, герцога Виндзорского, такой потертый мужичонка.

Болтался. Смотрел океанариум, музей. Купался на пляже.

Ощущение – что никакой войны не было.

15

С грустью нового прощания заканчиваю эту повесть о войне Игоря Сергеевича Косова.

Добавлю несколько слов о том, что было с ним после войны. Сам он не любил об этом говорить. Вот что я узнал от его друзей и жены Полины.

Игорь Сергеевич отказался от блестящей военной карьеры, что открывалась перед ним. Ему предлагали идти в военную академию – он демобилизовался. Стал жить с родителями в Черкасском переулке Москвы, втроем в десятиметровой комнате, которую мать получила, когда в 41 году эвакуировалась из Киева.

В 47– м году Игорь Сергеевич поступил на истфак МГУ. Почему не на мой родной мех-мат, сродственный его профессии артиллериста, – можно догадаться. Вероятно, за четыре года войны он так наколготился с прикладной теорией вероятности и тригонометрией, что его стало тянуть к более человечному и крупномасштабному обозрению мира.

В 1949 году Игорь с матерью остались вдвоем: был арестован и посажен на два года его отец. Сергей Ильич не любил рассказывать о тюрьме. Вспоминал разве что тамошние нелепости. Следователь задает, например, ему вопрос:

– Скажите, Косов, Ваша жена, может быть, тянет Вас в церковь?

– Когда она тянет меня в церковь, я ее тяну в синагогу – и мы остаемся на месте. Игорю разрешили в университете перейти на свободный график. Ночью он работал шофером (при пистолете) инкассаторной машины, днем учился. Кончил истфак в три года.

После университета работал в архивах, в редакциях.

Как и на войне, не боялся никого и ничего. Громыхнул кулаком по столу в факультетском партбюро, когда ему предложили стать осведомителем. Ему в ОВИРЕ не давали визу к берлинской сестре. Он загремел:«Когда я брал Берлин, то меня пустили туда безо всяких анкет!!» Визу выдали. Пер против начальства, когда считал его неправым. Встревал в любую драку, восстанавливая справедливость. Его жена Полина с горделивым ужасом живописует баталии «у такси», «в вестибюле ресторана» и другие. Мне таких впечатлений досталось по мелочам, но и они запомнились. Как-то мы с Игорем Сергеевичем прогуливали своих

мелких псишек. Уже после инсульта, он передвигался медленно, опираясь на палку. Неожиданно в открытое окно вылезла пьяная, небритая физиономия и обдала густым матом нас, наших собак и всех собачников мира впридачу. Игорь Сергеевич остановился, медленно развернулся и, подъяв палку, словно скипетр, пригрозил ею. Окно мгновенно захлопнулось.

Рядом с Игорем Сергеевичем возникало чувство надежности и защищенности.

К нему притягивало хороших и интересных людей. Они вовлекались на околокосовскую орбиту и становились друзьями.

С начальством было сложнее. Умное начальство его ценило и уважало за любовь к работе, ум, прямоту, знания. Начальство пообыкновеннее опасалось и не жаловало за острый язык, прямоту и независимость.

И все его воинское бесстрашие и упорядоченная интеллигентность артиллериста становились бесполезными, когда ему противостояла женщина.

Первая жена, однокурсница по университету, ушла от него, когда был арестован отец Сергей Ильич.

Второй жене, родом из знаменитой артистической династии, показалась пресной жизнь с историком и архивистом, бессмысленной его увлеченность своей скучной работой. И она отлетела с другим, оставив на мужа годовалую дочь.

На Черкасском переулке стало жить четверо Косовых, родители Игоря и он с дочерью. Как гром средь ясного неба, опять налетела жена и унесла ребенка. Сергей Ильич, сильно привязавшийся к внучке, в три дня умер от инфаркта.Сколь беззащитны железные мужчины пред женщинами…

Ребенок очень скоро вернулся к Косовым, и они опять зажили вместе, уже втроем.

Была еще одна попытка сложить семью – по рассудку, с женщиной, тоже разведенной, тоже с дочерью. «У нее дочь, у меня дочь – может, и сложится». Не сложилось и в этот раз.

Тянулись годы. Работа, друзья…

Седьмого января 1961 года на чужой свадьбе уже на сороковом своем году Игорь Сергеевич случайно сел рядом с Полиной. Через день они встретились, на другой день снова… Оказалось – это судьба.

Через четыре месяца Игорь сказал Полине: «Рыжуня, не торопи меня. Все будет так, как ты хочешь. Но не торопи».

Странно слышать, что не имеющий страха Косов так боялся ошибиться снова.

Потом они прожили вместе в любви и согласии тридцать лет и три года. Их друзья-острословцы, журналисты и историки,

любовно подшучивая, звали их Филемон и Бавкида.

Лет через пять после смерти Игоря Сергеевича его Полина стала писать о нем – и стихами, и прозой.

В повести «Того уж не вернуть…», которая вылилась за несколько дней и ночей, есть такие слова:

«Ведь мы познакомились с тобой седьмого января, в Рождество Христово. Христос прожил тридцать три года, и наш с тобой союз продолжался ровно столько же. Мне кажется, что он как будто был освящен Богом, таким он был прекрасным».

Вот ее стихотворение:

Уж утро, брезжит белый свет,
Деревья освещая
Как прежде. Но тебя уж нет.
С тоскою вспоминая,
Смотрю на яркие цветы
Знакомого нам сада.
Березки белые вдали,
Как стройная ограда,
Слегка ветвями шевеля,
Как будто в разговоре,
Как бы сочувствием даря
В меня постигшем горе.
Всю красоту начала дня
Невольно ощущая,
Я понимаю, что одна.
И как мне жить – не знаю.

Друзья Игоря Сергеевича теперь, как и прежде, собираются каждый год у Полины в их доме. Третьего сентября – на день его рождения и девятого мая – на главный его праздник, день Победы.

На день Победы 1975-го года друг и коллега Игоря Сергеевича Александр Синельников принес ему такое поздравление:

О патриархе, вечно юном,
Сегодня песню пропоем.
На фронте Игорь был Перуном:
Метал он молнии и гром.
К победе путь был очень длинный,
Но шел без устали амбал.
И, наконец, пришел в Берлин он
И полБерлина поломал.
Но, несмотря на гром разрывов
И несмотря на огнь и дым,

Он был поистине счастливым
И невозможно молодым.
Сегодня день его победы,
И мы его благодарим.
Но тот огонь, что в нем горит,
Нам недоступен, нам неведом.
…

Ведь между Игорем и нами
Стоит незримая стена —
Те тридцать лет воспоминаний,
Тридцатилетняя война.
Так вспоминай о тех годах,
И говори о них почаще,
Пока мы не сыграли в ящик,
Пока не превратились в прах.
Корпим в издательстве «Наука»,
Погрязли в горестной судьбе.
О чем же мы расскажем внукам?
Возможно, только о тебе.
А время мчится, время скачет,
Течет сквозь пальцы, как песок.
Но если в жизни есть кусок,
Когда ты смел был и высок-
То это – редкая удача.
Нас всех одолевает грусть.
Мы знаем слово, знаем дело.
И я за всех сказать берусь:
Твоих воспоминаний груз
Мы с преклонением разделим.
И в этот день, почти что летний,
Мы выпьем за тебя до дна.
Пусть длится для тебя она —
Тридцатилетняя война
И пусть становится столетней

ПАРАЛЛЕЛИ

Перебирая нескончаемую череду лиц, характеров, судеб, с которыми я встретился по жизни, могу, пожалуй, назвать Игоря Сергеевича самой гармоничной личностью этого ряда по всему

набору человеческих качеств: телесной красоте, прирожденному здоровью, благородству, уму, бесстрашию, душевной уравновешенности.

Он был рожден для садов блаженной Аркадии – судьба и время протащили его по траншеям и дорогам страшной войны.

Думаю, после нее он не изменился по своей сути, но скачком, без обычной постепенности, перешел в другую возрастную категорию. В свои двадцать четыре года он обрел раннюю и преждевременную мудрость человека, свершившего главное дело своей жизни.

Мы с ним были на «Вы». Он меня звал Игорек, я его – Игорь Сергеевич.

Обернемся теперь ко второму герою моего повествования – Виктору Лапаеву. Того требует жанр параллельных биографий, да я по Виктору уже и соскучился

Военные судьбы моих героев разительно несхожи.

Главная тема войны у Игоря Сергеевича – сражение и победа, у Виктора – противостояние всесильному року.

Войну они оба встретили девятнадцатилетними мальчишками. Но за плечами Игоря Косова уже была крепкая профессионально-военная подготовка. Поэтому он выплыл в водовороте 41-го года, а Виктора затянуло придонными течениями. Остальные четыре военных года были для него борьбой за физическое и духовное выживание.

Он выжил, устоял, не сломался. Но через пятнадцать лет после войны, когда я с ним встретился, казалось, что война выжгла из него все излишества тела и души. Телом он был тощ, жилист и перекручен, как зимняя виноградная лоза, душой – прямолинеен, бескомпромиссен, категоричен. Кличка «комиссар» недаром всплывает так часто в его воспоминаниях.

После войны Виктор кончил пединститут и работал учителем истории в Калинине.

Эта профессия – для людей, которые верят в абсолютные истины. Из выпускников семинарий и педучилищ вышли Сталин, Мао Цзедун, Муссолини, Гиммлер. Из них получаются диктаторы и директора школ. Еще неясно, чем труднее править – страной или обезьянником в полтысячи хвостов. Виктор был правителем абсолютным, просвещенным, мудрым. Не раз во время наших перемещений по улицам и торговым точкам Калинина к нему подкатывался какой-нибудь мужичонка лет сорока-пятидесяти, обрадованный, подвыпивший:

– Виктор Петрович! А помните, как Вы меня, дурака…

– Помню, дорогой. Как у тебя сейчас?

– Нормально, Виктор Петрович!

Работа, рыбалка и судьбы отечества занимали его всецело. Все остальное считал пустыми церемониями. «Да брось ты эту ерунду», – отмахивался он, когда Муза накрывала для него стол скатертью и доставала праздничную посуду. К жизненным удобствам был равнодушен, пил только водку, не закусывая и не пьянея. По мере выпитого, все ярче горели его яростные глаза, все более заострялись резцом проведенные черты лица, замедлялись движения, и он отдалялся куда-то в себя. Он не умел смеяться – только щерился. Мы с ним на «ты» с самого начала, звали друг друга Игорь и Виктор.

Из обоих моих героев мне ближе и понятнее Виктор. Может, здесь сказывается протяженность нашего знакомства, может – родство. Как никак, мы с ним двоюродные свояки, и война не разделила нас, как разделила два столь близких поколения: двадцать первого года рождения, прошедшее фронт, и мое, тридцать первого года рождения, не державшее в руках оружия.

Мое поколение пережило войну десяти-четырнадцатилетними пацанами. Мы испытали высокий подъем духа военного времени и хлебнули досыта голода и недетского военного труда.

И.В. Новожилов. 80-е годы.

Мне досталось в войну не самой тяжелой мерой. Вспоминается бесконечный, осенний путь в эвакуацию: набитая беженцами теплушка, унылые поля и жидкие перелески, бегущие за ее приоткрытой для продуха дверью, причитание старух при зрелище бесконечных рядов копен, брошенных в разгар страды летом и уже покрытых снегом. Сидение в пересыльном зале Курганского дворца пионеров, шевелящиеся тропинки вшей между курганчиками вещей с лежащими на них беженцами.

Воспоминание об этом пути сложилось у меня в такое стихотворение.

Во мне всегда мой сорок первый год.
Октябрь, сухой поземкой просеченный.
В Сибирь эвакуация течет
Людской рекой, осенней, обреченной.
Теплушка наша – горестный ковчег.
Узлы, старухи, дети, чемоданы.
И среди сих убогих и калек
Две чеховско-тургеневские дамы.
Из мужиков – один старик чужой.
Он правит нами жестко и сердито.
И мы ползем бескрайнею страной,
Толпясь к вагонной двери приоткрытой.
В дверном проеме перед нашим взором
Плывет ошеломленная земля:
Копен незахороненных поля,
Уже одетых снеговым убором,
Сожженные вагоны вдоль откосов,
Железа гром и лязг по узловым —
И детство кончилось, как горький шлака
дым,
В брутальном завыванье паровозов.

Нашу семью распределили в громадное сибирское село Верхняя Алабуга, за сто двадцать километров от железной дороги. Бабушка, на которой держалось вся семья, в первый же месяц умерла от защемления своей давней вдовьей грыжи. Мать, с пороком сердца, еле живая, осталась с тремя детьми. Она потом нам рассказывала: «Приказала себе не плакать. Начну – пропадем все».

Не пропали. Жили в школе, прямо в классе. Мать была учительницей математики в пятом-седьмом классах. За призванных на фронт учителей-мужчин ей пришлось преподавать все – от истории древнего мира до физики. Я ей объяснял законы

Ома и Джоуля-Ленца. Что я в них понимал, сам будучи третьеклассником, – теперь сказать не берусь.

Через год сельсовет выделил нам вымороченную избу.

– Дров на зиму дать не могу, – сказал председатель, – мужиков нет.

Выделил нам делянку в лесу и повозочного быка Ваську. Мать в это лето едва ходила после туляремии. Пришлось заняться лесоповалом мне, одиннадцатилетнему, и старшей сестре Римме – пятнадцати лет, городским детям, не державшим до тех пор в руках пилы-топора и обходившим с опаской любую рогатую скотину.

Совсем только недавно вспомнилось мне, что каждый вечер, возвращаясь из леса, мы уже издали видели свою мать, которая молча ждала нас в дверях дома.

В 43– м году мы вернулись из эвакуации в свое Подмосковье. Наш Высоковск был под немцами один месяц – ноябрь 41-го года. В нашей комнате первого этажа при немцах была кузница. Лошадей на перековку заводили по деревянному помосту через окно.

Я побежал по довоенным приятелям. Слушаю: перед немцами растащили магазины, секретарь райкома спрятался в шкаф, фабрика горела три дня.

Город зимой был занесен снегом. Водопровод, канализация, отопление – все замерзло. Ходили по узким тропкам средь сугробов. Из сугробов до весны торчали руки и ноги трупов. Ноги отрубали, оттаивали средь чугунов в общественных кухнях, чтобы можно было снять сапоги. Никто не обращал внимания.

Немцы, заняв Высоковск, сожгли городской клуб, где был наш госпиталь. В нем было человек двести наших, тяжелораненых. Анатолий Павлович Попов, друг и однокашник по Высоковской школе, сейчас полковник в отставке, пробрался тогда в клуб после пожара. Рассказывал, сильно сморщившись: «Хоть и был я казарменным пацаном, и видел, кажется, все, но тут, – волосы встали дыбом. Раненые, видно было, расползались, сгорая…»

Высоковску, говорили, еще повезло: через него прошли только фронтовые немецкие части, а гестапо не успело добраться. «А были уже готовы списки».

Был в нашем городишке свой дурачок, Сема Шипулинский. Большой, добрый, нелепый, юродиво улыбающийся, сопливый. За ним, дразнясь, толпой бегали мальчишки. Он вышел на главную Высоковскую улицу, обвешанный оружием: «Я – партизан». Немцы вздернули его на первом же суку.

Упокой, Господь, его простую душу.

Я расспрашивал про тех приятелей, кого не увидел.

– Сашка Сачков сидел верхом на крупнокалиберном – как

свиная чушка – снаряде, стучал по нему молотком – мать собирала его по кусочкам в сумочку.

– Витька Панков – в первую зиму опух с голоду и помер.

– Юрка Керосинников – просто пропал…

Сколько после появилось войны в нашем городишке и по другим городам и весям мальчишек с одной и той же приметой: без левой кисти и с покарябанной осколками физиономией. В левой пацан держал взрыватель, в правой – отвертку или молоток.

Только на нашем мехматском курсе в МГУ таких было два. Один из них сейчас академик, другой – профессор.

Мужем моей старшей сестры был Александр Иванович Мишанов, родом из под Тулы, в конце жизни – зампрокурора Калининской области. В сорок первом, когда ему было одиннадцать лет, он попал под немецкую бомбежку. Мать убило, Саша остался без ноги. Странным, недиагностированным, с подозрением на детскую травму, образом у него стали отказывать мышцы. Под конец встало дыхание, и он умер. Когда на его похоронах громыхнули прощальные залпы, мне подумалось: «Как погибшему на войне».

После университета я десяток лет проработал на авиапромовской фирме. Там сколотилась хорошая компания байдарочников, и в один из отпусков мы пустились флотилией в десять байдарок. Мужья с женами, мои ровесники – немногим за тридцать, такие разные и полные жизни.

Северная Россия, река Кубена, рыбалка, футбол на дневках, шторм на Кубенском озере – есть что вспомнить.

Недавно я стал загибать пальцы: Валя Афанасьев – помер, Игорь Пекин – помер, я – пока, вроде, нет, Коля Николаев – помер…

Получилось, что из десяти тогдашних мужиков осталось живыми – двое.

Когда сейчас я слышу, что передряги последних лет укоротили мужской век в России, я вспоминаю этот наш кубенский поход.

Это все мои ровесники – мальчишки военной поры.

Что же тогда сказать о прошедших перед нами на десятилетие раньше, если войну пережили только трое парней из каждой сотни плечистых и крепких года рождения двадцать первого?

Летом 41– го я, тогда девятилетний, немного странным образом подружился с соседом по дому Колей Укладовым. Это был взрослый парень, десятиклассник, тяжело болевший лимфоденитом и умерший в первую военную зиму. Он неподвижно сидел дома, и его занимало мое по годам и интересам несообразное общество.

Я носил ему книги, он обучил меня «морскому бою» и

шахматам. Тихо посмеиваясь, поражал мои симметрично выстроенные эскадры, ставил пятиминутные маты.

К нему часто залетали его одноклассники. Я оттеснялся в угол дивана, смотрел и слушал.

Я до сих пор почти физически ощущаю тот Дейнековский заряд оптимизма, душевного здоровья, ту хозяйскую уверенность в своем светлом будущем, что несли эти парни и девушки.

Война не пощадила никого из них.

Меня не оставляет чувство горечи и печали о том поколении, сгоревшем в пламени войны.

Они не спорили о праве личности на кусок пожирнее. Они брали на себя право выбирать груз – тяжелее, дорогу – каменистее.

Если бы это поколение осталось жить среди нас – история наша складывалась бы иначе.

С ними прервалось дело и вера предыдущего поколения, поколения наших отцов: моего отца – Новожилова Василия Алексеевича, его деревенского друга – генерала Горбина Николая Михайловича, моего тестя – Николая Сергеевича Семенова, родителей Виктора Лапаева и Игоря Косова, родителей моего друга В. В. Лунева.

По происхождению отцы наши были из самых низов, партийцы и комсомольцы двадцатых годов, первые рабфаковцы, первые советские инженеры, врачи, хозяйственники, военные. Могучие водовороты, перемешавшие в начале века Россию, вырвали их из веками устоявшегося предопределения пахать-сеять к возможности самим строить свою судьбу и строить судьбу страны.

Происходили неодолимые глубинные процессы, носителями и участниками которых были миллионы наших отцов.

Нам ли их судить?

Моему поколению «верующих атеистов», как я его зову, поколению шестидесятников, осталось, в лучшем случае, утешаться теорией малых дел и, отвращая взор от грядущего, дай бог сытого, безверья, с завистливой любовью оборачиваться к дорогим ушедшим теням.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Признаюсь, что я изрядно побаивался упреков в графомании, когда выпускал эту книгу в 1998 году первым изданием. Сейчас опасения почти кончились. Я раздарил около пятисот экземпляров

книги по своим друзьям-знакомым – от любоховских пенсионеров до московских академиков. Читатель книгу одобрил. Появились две вполне благожелательных рецензии – в «Независимой газете» от 10.12.1998 и в газете «Тверская жизнь» от 10.02.99. В одной рецензии сравнили даже с Дос Пасосом. Я крякнул: поток сознания, протекший в литературе меж двух мировых войн, душа моя не принимает, хоть я и не раз пытался отхлебнуть из него.

Горжусь откликом из Михайловского военного артиллерийского университета. Так теперь называется ЛАУ-3, училище Игоря Сергеевича. Привожу его полностью.

ОТЗЫВ

На книгу И.С.Косова, В.П.Лапаева, И.В.Новожилова «Год рождения 1921».

Книга «Год рождения 1921» написана в жанре военной мемуаристики и представляет собой воспоминания представителей того поколения, на плечи которого легла основная тяжесть Великой Отечественной войны, прошедших через самые суровые ее испытания от первого до последнего дня. Книга продолжает традиции писателей-фронтовиков – М.Шолохова, К.Симонова, В.Быкова, В.Астафьева и других, суть которых – показ судьбы человека в годы военного лихолетья.

Книга насыщена простыми и вместе с тем высокими помыслами и переживаниями за судьбу Отечества, пронизана любовью к Родине, готовностью к самопожертвованию ради нее, ради своих боевых товарищей, т е. теми духовными ценностями, которые составляют суть нравственного облика российского офицера и являются предметом морально-нравственной подготовки в стенах военно-учебного заведения. И чем дальше от войны, тем больше актуальность подобных книг, воспоминаний непосредственных участников, видевших войну не из высоких кабинетов и посредством штабных карт, а из окопа, из-за ограждений фашистских лагерей. Поэтому нельзя не высказать искреннюю признательность и благодарность профессору И.В.Новожилову, не только сохранившему записи воспоминаний офицера-артиллериста И.С.Косова, выпускника ЛАУ 1941 года, и красноармейца В.П.Лапаева, пережившего фашистский плен и ужасы концлагеря, но и сделавшего все, чтобы эти воспоминания увидели свет.

Перед нами немногословная многократно переосмысленная художественно-документальная повесть о войне, о двух человеческих судьбах, предельно объективная и живая память о ней. И хотя И.В.Новожилов отмечает, что «эта книга – не военно-исто-ричечкое исследование, а живая запись современников событий», следует все же подчеркнуть ее военно-историческую ценность. В книге, и прежде всего в воспоминаниях И.С.Косова, многие, давно известные из военных мемуаров события, предстают в более детальном и живом описании. Косов часто раскрывает те стороны событий, которые, как считал, например, В.Карпов в книге «Полководец», являются второстепенными и не имеющими

значения – человеческие качества, взаимоотношения на войне, фронтовой быт, отношение к пленным и местному населению и т д. Поэтому вызывают интерес личные впечатления Косова о целом ряде известных военных и политических руководителях, с которыми ему довелось встречаться в годы войны – Маленкове, Ватутине, Ротмистрове, Мерецкове, Черняховском. Особый интерес вызывают образы выдающихся советских артиллеристов – Кулешова, Яковлева, Казакова, Дегтярева. Эти воспоминания – не похвальба встречами с известными военоначальниками. Они имеют целью показать, что войну выиграли не начальники и подчиненные, а обыкновенные люди с необыкновенными человеческими качествами.

Книга «Год рождения 1921» относится к разряду художественно-исторической военной мемуаристики, для которой свойственно отражение войны в живых образах, индивидуальных характерах, тех, может быть, на первый взгляд, несущественных деталях, но из которых складывалась повседневность военных будней, фронтовая действительность. И.В.Новожилов справедливо отмечает: «Косов знал, что лет через 50-100 фронтовой быт, личные впечатления, переживания очевидцев этого Великого Времени станут самым интересным и недоступным материалом».

Воспоминания И.С.Косова отличаются образным, лаконичным языком, свойственным лучшим представителям военной интеллигенции. Они исключительно информативны, поскольку в них содержится бесценный опыт офицера-артиллериста, органично соединившего в своей боевой деятельности основательную военно-профессиональную подготовку, полученную в стенах третьего Ленинградского артиллерийского училища, с боевым опытом. В этом отношении книга исключительно поучительна для нынешнего поколения офицеров-артиллеристов и поэтому даже ее единственный экземпляр нарасхват в среде офицеров и курсантов Михайловского военного артиллерийского университета.

Материалы воспоминаний И.С.Косова ценны для нынешних «михайловцев» еще и тем, что способствуют укреплению связи разных поколений артиллеристов, получивших свою профессиональную подготовку в старейшем артиллерийском учебном заведении России. Боевой опыт Косова и его однокашников в годы Великой Отечественной войны свидетельствует о давних и прочных традициях в подготовке российских артиллеристов, сохранившихся, несмотря ни на какие исторические повороты в судьбах нашего Отечества, и которыми современному поколению необходимо дорожить в память о тех его питомцах, кто отдал свою жизнь во имя Отечества.

Несомненной заслугой авторов является то, что они сумели

передать, как в годы войны человек сохраняет свое достоинство, как обнаруживает источники для своего личностного и профессионального становления и развития, дают ответ на вопрос, каким образом военному поколению удалось не просто выжить, но с честью выполнить свой долг перед Родиной, перед народом, перед своими погибшими товарищами. Совершенно справедливо и единодушно авторы отмечают, что их поколение считало своим долгом встать в первую шеренгу. «Они не спорили о праве личности на кусок пожирнее. Они брали на себя право выбирать груз – тяжелее, дорогу – каменистее». Все это способствовало тому, что формировались личности, подобно Косову, отличавшиеся высоким интеллектом, храбростью, выдержкой, самостоятельностью и независимостью мышления, высоким профессионализмом. Они не терпели брюзжания и не были нытиками, всегда оставались самими собой, до самоотвержения заботились о своих подчиненных. Благодаря им, Победа над фашизмом стала неизбежной.

Книга «Год рождения 1921», подготовленная и изданная И.В.Новожиловым, – замечательный труд, имеющий особое значение в канун 55-летия Великой Победы, достойный внимания самой широкой общественности, офицерских кадров, курсантов и слушателей артиллерийских учебных заведений Вооруженных Сил РФ. Выражаем нашу искреннюю признательность и благодарность профессору И.В.Новожилову за его заботу о сохранении памяти о своем поколении, о людях, чья судьба во многом поучительна для новых поколений истинных патриотов России.

Начальник Михайловского военного артиллерийского университета генерал-лейтенант В.С.Сухорученко

30 марта 1999 года